



Михаил Минаков
Постсоветский человек и его время

Михаил Минаков

Постсоветский человек
и его время

Опыт философского осмысления
постсоветской эпохи



СВОБОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
BRĪVĀ
UNIVERSITĀTE
RĪGA
Рига
Brīvā Universitāte
2024

Михаил Минаков
Постсоветский человек и его время. Опыт философского осмысления постсоветской эпохи. Издание 2-е дополненное и исправленное. Рига: Brīvā Universitāte, 2024.

ISBN 978-9934-38-157-7

DOI 10.55167/0126d4d79b70

Эта книга о постсоветском периоде (1991–2022), который был по-своему беспрецедентной эпохой в истории человечества. Его уникальность заключалась не только в том, что распад СССР открыл перед людьми и народами Восточной Европы и Северной Евразии возможности испытать на личном опыте свободу и проверить свой творческий потенциал, но и в том, что за эти возможности не потребовалось заплатить цену, сравнимую с советским экспериментом. Не усвоив уроки постсоветской истории, народы Восточной Европы и Северной Евразии обречены на повторение порочных циклов трагедий и разрушений.

© Михаил Минаков, 2024

Книга публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution License 4.0. Рисунок на обложке сгенерирован LLM DALL-E 3, а также Adobe Firefly. Книгу к печати подготовил Владимир Харитонов.

Отзывы

«Книга Минакова передает настроение момента, когда полномасштабное вторжение России в Украину означало конец эпохи в развитии региона, которую принято называть «постсоветский»... Книга отражает междисциплинарный опыт ее автора, который на протяжении десятилетий занимался политической философией и региональными исследованиями. Рекомендую книгу к прочтению тем, кто ищет более глубокие интерпретации известных фактов новейшей истории Восточной Европы и Северной Евразии.»

Валерия Кораблева, Карлов Университет, Прага

«Книга „Постсоветский человек“ — это свидетельство о попытках создания постсоветского Uebermensch, на протяжении трех десятилетий участвовавшего в усилиях по преодолению Советского Человека. Четко обозначив „постсоветскую эпоху“ как период между 1991 по 2022 год, автор показывает, при каких организующих принципах социального бытия в Восточной Европе и Северной Евразии. Книга станет прекрасным источником идей и информации для тех, кто ищет многомерное понимание разнообразных и зачастую противоречивых событий в социально-экономической, политической и культурной сферах, с которыми столкнулись граждане новообразованных государств после распада Советского Союза.»

Мариам Пипиа, Высшее командное училище, Тбилиси

«Эта книга — первый обстоятельный и провокационный рассказ о новой стадии человеческой эволюции в форме Homo Post-Soveticus... Это обязательное чтение для тех, кто все еще хочет понять, почему постсоветское пространство после цезуры 1989–91 годов развивалось не в том направлении, на которое надеялись оптимисты, и почему утопия превратилась в антиутопию.»

Георгий Касьянов, Университет Марии Склодовской-Кюри, Люблиń

«Книга М. Минакова — это захватывающая история закончившейся на наших глазах постсоветской эпохи (1991–2022) — периода поисков выхода из тоталитарного господства, удач и неудач восточноевропейских обществ. Сочетание философского, социологического и исторического взгляда на сложнейшие и драматичные процессы в этом регионе позволяют автору удержаться от любого упрощения, иллюзий и идеологической предвзятости, сохраняя трезвость, глубину и нетривиальность своего анализа. Эта работа — одна из лучших, написанных в последние годы о разбегающихся траекториях постсоветского транзита.»

Лев Гудков, Левада-Центр, Москва

«Что за человек появился на руинах советской цивилизации? Именно на этот вопрос пытается ответить Михаил Минаков, один из самых проницательных исследователей постсоветского мира. Этак оригинальная книга — великолепная смесь истории, философии, антропологии и жизни, прожитой среди руин.»

Иван Крастев, Институт гуманитарных наук, Вена

*Посвящаю эту книгу поколению,
пережившему цезуру 1989–1991,
постсоветскую эпоху
и ее катастрофическое окончание.*

Сил нам и идущим за нами

Благодарности

Идея этой книги родилась в результате дискуссий на семинарах Школы гражданского просвещения (Рига — Лондон) в 2015–2023 годах. Я искренне признателен Лене Немировской и Юрию Сенокосову, Инне Березкиной и Марине Скориковой, Льву Гудкову и Френку О’Доннеллу, Ивану Крастеву и Николаю Петрову, Джону Ллойду и Михаэлю Сульману, Павлу Викторянскому и Александру Шмелеву за наши споры и те истины с заблуждениями, которые мы в них обретали. Отдельная признательность Людмиле Нукневич за глубокое чтение и мудрые советы по редактированию этой книги.

Я безмерно благодарен Марии Грации Бартолини за вдохновение и поддержку в самые темные времена. Без ее участия я бы не завершил эту книгу.

Я признателен венскому Институту наук о человеке (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) за возможность написать этот текст в тиши его библиотеки и шуме бесед с коллегами-исследователями на институтских собраниях.

Второе издание этой книги — инициатива Елены Лукьяновой и коллег по Свободному университету. Спасибо вам импульс к совершенствованию!

Введение

Постсоветская эпоха завершилась в 2022 году с началом российского вторжения в Украину. Несмотря на то, что война в Украине началась еще в 2014 году, именно это событие — полномасштабная война — поставила точку в непродолжительной истории периода, толчок к возникновению которого дали распад СССР, а также создание новых демократических государств и рыночных экономик в Восточной Европе и Северной Евразии. Решение Владимира Путина начать «специальную военную операцию» против Украины нанесло последний и решающий удар по постсоветскому порядку, диалектике его разворачивания и его временной, пространственной и идеологической структурам.

Именно с этого тезиса стартует ряд положений, которые структурируют эту книгу. Итак, если мой тезис о конце постсоветской истории верен, то этот период стал завершенным предметом, окончательно сформированным для научных исследований и феноменологически открытым для философских рефлексий. В отличие от периода до 2022 года, теперь в постсоветских исследованиях есть возможность установить определенную дистанцию по отношению к изучаемому предметному полю. У исследований постсоветской эпохи появился шанс стать академической дисциплиной, в которой существенно меньшую роль будут играть идеологическая ангажированность и идентичностная предвзятость, которые были так заметны в транзитологии последнего тридцатилетия (это критическое замечание я адресую не только к трудам других исследователей, но и к своим собственным предыдущим работам).

Итак, постсоветский период теперь имеет четкие хронологические очертания. Его начало связано с разрушительно-созидающими процессами 1989–1991 годов в Советском Союзе, а его завершение — с рядом трагических событий, лавиной обрушившихся на украинцев и соседние народы весной

2022 года. Я считаю, что оба упомянутых разрушительно-сози-дательных процесса были историческими цезурами, отделившими постсоветский период и от советской эры, и от новой, еще не названной эпохи, которая разворачивается перед нашими глазами на землях Восточной Европы и Северной Евразии.

Как историческая эпоха постсоветский период имел свою логику и диалектику. Логика его развития связана с постсоветской тетрадой — сочетанием четырех социально-экономических и культурно-политических тенденций, которые можно обозначить как демократизацию, маркетизацию, национализацию и европеизацию. Вместе с тем диалектика этой эпохи проявилась в противоречиях как между указанными тенденциями, так и внутри них. Развитие свободных рынков могло усиливать антидемократические силы, а создание национальных государств зачастую было враждебным общеевропейским нормам и практикам. Также внутри каждой из четырех тенденций существовали внутренние противоречия. Демократизация постсоветского пространства постоянно пребывала в сложных отношениях со своим Альтер Эго — автократическими тенденциями. Становление свободных рынков сталкивалось с установлением олигархического контроля над экономикой. Строительство национальных государств постоянно разрывалось между практиками этнического и гражданского национализмов. Кроме того, европеизация сталкивалась с весьма неодинаковыми формами принятия общих правовых норм и политических практик, а также с социальной реакцией на них в новообразовавшихся обществах.

Постсоветское развитие представляли — не только учёные, но и властные элиты и народы новых стран — преимущественно как посткоммунистический переход или транзит. Но представление об этом переходе менялось, и к концу первой декады XXI века транзитология претерпела значительные изменения: ее эмоционально-методологический маятник качнулся от оптимистических ожиданий к пессимистическим оценкам постсоветского развития.

Эта книга — о постсоветском человеке, пусть непродолжительном, но ярком и самобытном культурно-антропологическом типе, сформировавшемся в цезуре 1989–1991 годов. Таким образом, мой последний тезис, который я буду отстаивать в этой книге, вытекает из попытки судить о человеке по его поступкам и их последствиям. Я интерпретирую постсоветский период как беспрецедентную историческую среду, в которой постсоветский человек проявил себя в создании новых социальных миров, экономик, политических и правовых систем. Соответственно, судить о нем я предлагаю по достижениям во всех этих начинаниях. Постсоветская эпоха предоставила никогда советскому человеку шанс стать свободным, превзойти себя и выразить свое неповторимое существование в политическом и социальном творчестве без марксистско-ленинских подсказок. И в этой книге я показываю, к каким коллективным и институциональным последствиям привело использование этого шанса постсоветским человеком.

Я писал эту книгу на трех языках — английском, русском и украинском. Каждая ее версия несколько отличается от других, поскольку адресована разным аудиториям. Однако структура и аргументы, изложенные в ней, одинаковы. Перед завершением работы над книгой я протестировал ее основные тезисы в серии статей, опубликованных в 2022–23 годах. Я собрал критические и одобрительные замечания читателей этих публикаций, отшлифовал свою аргументацию и привел дополнительные доказательства в следующих четырех главах.

Структура книги такова. Первая глава посвящена философской рефлексии, в развертывании которой были заложены основания для понятий «постсоветский человек», «политическое творчество» и «постсоветская тетрада». Читателю, которому скучно читать теоретические выкладки, советую просто перейти ко второй главе, где дано описание последовательности этапов и общий ритм продвижения в развитии постсоветских народов. В третьей главе рассмотрено то, как ученые и политики из Восточной Европы и Северной Евразии, а также из

других частей мира, представляли себе постсоветский переход и его итоги. А в четвертой, заключительной части я подвожу баланс демократических и авторитарных достижений постсоветского человека по состоянию на 2022 год.

Хочу подчеркнуть тот факт, что эта книга была написана в недрах новой исторической цезуры, поглотившей Восточную Европу и Северную Евразию весной 2022 года. Наступает новая историческая эпоха с непредсказуемыми последствиями для народов Европы и Евразии, чье политическое творчество уже не определяют ни советский опыт, ни антисоветские настроения, ни посткоммунистическая тетрада. Очевидно, что именно постсоветский опыт и наши выводы из его уроков станут формирующими для грядущих времен. И моя книга как раз об этих уроках, что превращает ее в своеобразное завещание постсоветского человека грядущим поколениям, обреченным на жизнь в Восточной Европе и Северной Евразии в оставшиеся десятилетия XXI века.

Часть первая

Философские аспекты постсоветской истории

Человек — это бытийствующая^{*1} надежда и одновременно онтологическая катастрофа. Постсоветский человек — не исключение, хотя из-за завышенных ожиданий, возлагавшихся на него в начале 1990-х, его катастрофичность особенно бросается в глаза. Об этом разрыве между ожиданиями и достижениями постсоветской поры и идет речь в этой книге.

Катастрофа — это, в соответствии с изначальным смыслом слова *καταστρέψω*, поворачивание и опрокидывание, что я истолковываю как опрокидывание изначального бытийственного порядка. Но даже в этом опрокидывании человек все равно обнадеживает, поскольку устанавливает новый порядок на руинах прежнего. Так из опрокинутой «натуры» создаются порядки культуры, из естественного состояния — цивилизация, из заброшенности в не нами созданный мир — выбор, фундирующий^{*} ситуацию неповторимой судьбы каждого из нас. В силу этой обнадеживающей катастрофичности человеческого существования проявляется его творческая сила, способность к положению новых начал в мире. Быть человеком — значит существовать одновременно и в восстании против изначального, и в возвращении к обновленному порядку, но уже с посевными семенами новых беспрецедентных начал. Эта созидательная разрушительность — способ существования человека в изначально положенном мире, его богоборческая реакция на заброшенность в этот мир и его же богочеловеческая способность к творчеству, к начинанию нового в мире.

¹ Здесь и далее слова, отмеченные звездочкой, объясняются в глоссарии. В сносках (см. далее) *стр.* — обозначения страниц статей и разделов как части библиографического описания, *с.* — указания конкретных процитированных страниц.

Человек, мир и История

Созидательная разрушительность человека проявляется в специфическом — онтологическом и перформативном^{*} — противоречии существования. Онтологически эта противоречивость проявляется в божественной способности творить и в животной конечности человека. Перформативное противоречие проявляется в том, что человек присутствует в мире как некто заброшенный и при этом заброшенный в направлении к не им положенному концу. Но в то же время и в ежедневном усилии быть тут и теперь, в проживании своей неповторимой жизненной ситуации, в создании новых жизней, в уничтожении себе подобных и неподобных Иных, в неразрывной коммуникации с другими людьми, существами и вещами. Во всех этих проявлениях себя человек постоянно трансгрессирует^{*,} нарушает им и не им установленные границы. Онтологический и перформативный планы позволяют понять человека как созидающе-разрушающее существование.

Созидательная разрушительность человека лежит в основании Истории — в непрекращающемся плетении межличностных опытов, состоящих из четырех типов. Во-первых, из пережитых и забытых, но все еще присутствующих в анонимных структурах истории переживаний и ситуаций. Во-вторых, из памятуемых лично и архивированных коллективно событий. В-третьих, из ситуаций, переживаемых тут и теперь. И в-четвертых, из возможных событий, которые могут произойти в будущем (при условии, что люди все еще будут существовать) и которые этой возможностью влияют на наш выбор в прошлом и настоящем. История началась давно, еще в связи с предыдущими человечествами², и длится, пока нас, людей, она (История) продолжает забрасывать в мир, а мы разруша-

2 История предыдущих человечеств — новая, но давно ожидаемая научная дисциплина, часть палеоантропологии, пытающаяся вернуть принципиальную возможность признания человеческого опыта до и вне *Homo sapiens sapiens*^{*}. Об этом см., например: Bod R., Kursell J., Maat J., & Weststeijn T. A New Field: History of Humanities // History of Humanities. 2016. № 1(1). Стр. 1–8. С. 1–2.

ем, созидаем, проживаем события и умираем в этом мире. При этом История — это одно слово для бесконечного множества темпоральных* определенностей: эпох, периодов, фаз, судеб, определивших опыты различных коллективных и индивидуальных субъектов. Исторический изначально опыт множествен, и об Истории нужно бы говорить, противореча грамматике, как о разнообразных совокупностях разнородных опытов, открытых для осмысления, предания, рассказа, пересказа, интерпретации, хранения в памяти и забвения.

История состоит из атомарных событий, в которых свое присутствие проявило раз и навсегда противоречивое человеческое существование. И даже после конца Истории, когда в осиротевшем мире вовсе не станет человеческого присутствия, человеческая история останется неотменяемым событием событий.

Как разрушающее-созидающее существование человек соучастует в постоянном изменении мира, его переосмысливании и положении в нем новых начинаний на обломках прежних либо в их продолжении. Каждое человеческое присутствие в мире ограничено времененным промежутком индивидуального существования от рождения до смерти. Однако человеческое присутствие постоянно выходит за эти пределы благодаря интерсубъективности* своего существования и интеробъективности* материальных изменений, являющихся результатом разрушительно-творческого присутствия человека в мире. Как человеческие существа мы рождаемся в мир, существующий до нас (из человеческих поступков и нечеловеческих происшествий), и покидаем его измененным нами, дополненным нашими плодами и разрушениями. Человек — это важная часть множества сил, участвующих в творческом взаимодействии разрушения и воссоздания порядков изменчивого мира.

Политическое творчество и воображение

Эти положения онтологического характера находят также свое воплощение в разных практических сферах, где проявляет себя

человек, например, в политике. Политика — одно из многих измерений, в котором проявляется разрушительно-творческое существование человека. Изучение политики и ее многочисленных феноменов означает пополнение нашего понимания того, что такое человеческое существование в его индивидуальном присутствии, коллективном соприсутствии и становлении обоих.

Господство и подчинение, спор и согласие, война и мир, зависимость и свобода, преступление и справедливость, подданничество и гражданственность, личная выгода и общее благо — эти и многие другие политические феномены проис текают из нашего интерсубъективного соприсутствия. В этом соприсутствии люди обречены на общение, взаимодействие, коммуникацию-кайоннию³ — на совместное достижение решений и их же совместной реализации³. Эта коммуникация-кайонния — многоуровневый процесс, позволяющий человеческим индивидам становиться согражданами, членами политического сообщества, выражаящийся в равенстве и неравенстве, активной или пассивной позиции в кайонии, принятии или сопротивлении центральной или маргинальной роли и в принятии результатов очередного коммуникативного акта политики или в сопротивлении им. Каждый такой акт — это акт политического творчества, изменяющего поведение человека, людей и материальные условия жизни — социальную реальность.

С онтологической точки зрения политическое творчество — это способность человеческого существования полагать новые начинания в политической сфере, то есть в сфере, где человеческие и нечеловеческие субъекты сотрудничают и борются за достижение того, что Аристотель называл «высшим общим благом». При этом новизна полагаемых начал может быть абсолютной или относительной. Абсолютно новые начала

3 Об этой кайонийной «природе» политики — κοινωνία πολιτική — писал еще Аристотель. См.: Аристотель. Политика [1:1252а] // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1990.

предполагают создание некой беспрецедентной политической практики, института, организации или идеологической конструкции⁴. Относительно новые начала подразумевают политический результат, который является новым для какой-то политически значимой группы, но имеет прецеденты в истории других групп. Будь оно абсолютным или относительным, политическое творчество — проявление человеческого присутствия в мире, сеяние новых начал, которые могут быть реализованы. Или, продолжая растительную метафору, прорости в виде веющей, идей, групп, процессов или ситуаций.

Креативность человеческого существования соседствует с другими, столь же подлинными человеческими способностями: уже упоминавшейся разрушительностью, пассивностью, участием в качестве равноправного элемента в сети с другими акторами^{*} или радикальным отказом от такого участия в почти невозможном выборе одиночества. Человеческое существование присутствует в мире одновременно в хаосе и в широком разнообразии порядков, которые можно описать в терминах «сетей» Бруно Латура⁵ и «систем» Никласа Лумана⁶. В этих по-разному понимаемых и существующих сетях и порядках из мирового хаоса можно выделить и выразить креативность и деструктивность, участливость и безучастность, хотя в хаосе эти способности сливаются в постоянных изменениях и невыразимой эфемерности.

Итак, творчество — лишь одна из способностей человеческого существования. Она специфически проявляется в полагании новых начал в действии, которое принципиально можно описать как набрасывание проекта. Это акт присутствующего существования, сравнимый с броском аркана в пустоту

4 Это именно то, что Ханна Арендт описывает как специфику «революции». См.: Arendt H. On Revolution. New York, 2006.

5 См.: Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford, 2007.

6 Например, см.: Luhmann N., Baecker D., Gilgen P. Introduction to Systems Theory. Cambridge, 2013.

Небытия, в процессе чего пустота арканной петли заполняется живой человеческой энергией, которая и превращает Ничто в нечто новое—попадающее—в—присутствие—в—мире. Так присутствие становится становлением, и наоборот. Такое понимание экзистенциального характера творчества исходит во многом из феноменологических прозрений Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, Мартина Хайдеггера и Жан-Поля Сартра и снимает фундаментально-онтологическое противоречие между присутствием и становлением.

Такое понимание творчества не противоречит и философским перспективам, отличающимся *от собственно человеческих*. Например, оно дополняет *постчеловеческую онтологию* акторно-сетевой перспективы. Для человека быть элементом акторной сети означает соприсутствовать и взаимодействовать со множеством различных элементов материального или мыслимого порядка⁷. Среди живых, мертвых и индифферентных элементов акторной сети человек проявляет свою специфику (но не центральное положение или доминирующую позицию) в инициировании ряда новых ситуаций и процессов, реализация которых возможна лишь во взаимодействии с другими участниками сети. С такой открытой точки зрения, с учетом феноменологической онтологии и постчеловеческой теории*, человеческую креативность нужно понимать в терминах интерсубъективных и интеробъективных различий, связей и продуктивности. Посевы нового всходят там, где взаимодействуют человек-сеятель и зерно, почва и сельскохозяйственная технология, да и солнце с дождем.

Важно отметить, что человеческая способность к творчеству получила особую ценность в философии и социальных

7 Об этом, например, см. аргументы Дж. Мердока и К. Б. Йенсена: *Murdoch J. Ecologising Sociology: Actor-Network Theory, Co-Construction and the Problem of Human Exemptionalism // Sociology*. 2001. № 1. Стр. 111–133; *Jensen C. B. Latour and Pickering: Post-human Perspectives on Science, Becoming, and Normativity / D. J. Haraway, A. Pickering, B. Latour (eds.) // Chasing Technoscience: Matrix for Materiality*. Bloomington, 2003. Стр. 225–244.

науках совсем недавно⁸. Хотя способность к творчеству была объектом исследования философов задолго до современности в совершенно разных культурах с собственной темпоральностью, в домодерном контексте она рассматривалась как нечто, что было скорее божественной, нежели человеческой способностью. В небожественных руках творчество воспринималось трансгрессивным актом соучастия в продолжающемся творении мира, а значит, запретным для людей и достойным наказания. Лишь с европейских эпох Возрождения и Просвещения — с их пафосом эллинского прометеизма⁹ — человеческое творчество стали уважать. В современности человеческое творчество стало вызывать не столько ужас, сколько положительный интерес к двум его основным характеристикам: новизне и оригинальности. Прогресс двигали Ньютон и Эйнштейн, Шагал и Пикассо, Тесла и Фарадей, Гагарин и Армстронг, Фауст и Данко.

С началом Просвещения и в последние три столетия философы, психологи и антропологи пытались описать человеческое творчество четырьмя способами¹⁰. Во-первых, как продуктивную силу интеллекта, где есть замысел, реализация и признанный эффект. Во-вторых, как некий бессознательный процесс, который приводит к созданию бесprecedентно нового, во многом необъяснимого или даже без-авторного: гении творят необъяснимо, вне правил, по наитию из внеличностных пространств¹¹. В-третьих, творчество описывают как способность решать проблемные ситуации, что позволяет человеку адаптироваться к измененным природным или социальным

8 Об этом подробно пишут Влад Главян и Джеймс Кауфман в истории понятия творчества. См.: Glaveanu V. P., Kaufman J. C. Creativity. A Historical Perspective / J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (eds.) // The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge, 2019. Стр. 9–26. С. 9.

9 Brown R. T. Creativity: What are We to Measure? / J. A. Glover, R. R. Ronning, C. R. Reynolds (eds.) // Handbook of Creativity. New York, 1989. Стр. 3–32. С. 4.

10 Об этом особенно интересно речь ведет Иммануил Кант в §46 «Критики способности суждения». И с этим странно, но в унисон перекликаются идеи о «смерти автора» у Ролана Барта и Мишеля Фуко.

обстоятельствам. В-четвертых, креативность рассматривают как процесс продуктивных ассоциаций, порождающих беспрецедентно новое содержание. Совсем недавно те же четыре интерпретации креативности можно было обнаружить в дискуссиях генетиков¹¹ и эволюционных биологов^{*12}.

Те же четыре способа понимания человеческого творчества присутствовали в длительных дебатах о роли этой способности в политике. Например, состояние мира между народами стали рассматривать не как благодать или случайность, но как продукт целенаправленной разумной работы, достигнутый благодаря созданию и применению модерных рациональных политico-правовых институтов¹³. Или же поведение масс, ведущее к новым формам политики, часто интерпретируют сквозь призму бессознательных процессов¹⁴. А философы-прагматисты изучали политические суждения и действия с точки зрения решения проблем и/или изменения условий, которые их порождают¹⁵. Четвертый подход можно увидеть, например, в исследованиях социальных и идеологических процессов¹⁶.

11 См.: Barbot B., Eff H. The Genetic Basis of Creativity. A Multivariate Approach / J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (eds.) // The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge, 2019. Стр. 132–147. С. 132 и далее.

12 См.: Feist G. J. An Evolutionary Model of Artistic and Musical Creativity / C. Mardindale, P. Locher, V. M. Petrov (eds.) // Evolutionary and Neurocognitive Approaches to Aesthetics, Creativity and the Arts. Amityville, 2007. Стр. 15–30. С. 16 и далее.

13 См., например, об этом у Канта и Стивена Пинкера: *Kant I. Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*. New Haven, [1795] 2008; *Pinker S. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. London, 2011.

14 Например, Теодор Адорно и Зигмунд Фрейд: *Adorno T. Sociology and Psychology II* // *New Left Review*. 1968. № 1. Стр. 79–97; *Freud S. The Future of an Illusion*. New York, [1927] 2012.

15 Об этом, например, см. работы Джона Дьюи, Акселя Хоннета или Ричарда Рорти: *Dewey J. Creative Democracy — The Task Before Us* // *America's Public Philosopher*. New York, [1939] 2021. Стр. 59–66; *Honneth A. Democracy as Reflexive Cooperation: John Dewey and the Theory of Democracy Today* // *Political Theory*. 1998. № 6. Стр. 763–783; *Rorty R. Philosophy and Social Hope*. London, 1999.

16 Например, см.: *Simmel G. The Sociology of Sociability* // *American Journal of Sociology*. 1949. № 3. Стр. 254–261; *Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. London, 1996; *Etkind A., Minakov M. Post-Soviet Ideologi*

Иначе говоря, понятие творчества в политической сфере прочно укоренилось и получило широкое признание как в современных исследованиях, так и в современной картине мира. Несмотря на эти различия, в целом политическое творчество следует понимать как трансгрессивно-синтетическую способность, связывающую индивидуальное человеческое присутствие и интерсубъективность существования, личные интересы и коллективные действия, свободную волю актора и детерминированность возможностями сети.

Дискуссии в современной политической философии связаны отчасти с проблематикой креативности, а именно с вопросом о том, какие социально-политические структуры являются наилучшими для раскрытия и поддержки творческих способностей человека.

Классический либерально-демократический ответ был сформулирован Джоном Дьюи: эволюция — то есть адаптивность, выживание и развитие — человеческого вида связана с интеллектуальной способностью решать проблемные ситуации в социальной реальности¹⁷. Социальная реальность, функционирует ли в ней либеральная демократия или авторитарная диктатура, *одинаковым образом* создает проблемные ситуации для людей. Отличие же состоит в том, что демократия и диктатура предлагают *разные условия* для их преодоления. Политическая свобода создает наилучшие условия для поиска решений путем открытых дискуссий и личных экспериментов, в то время как ограничения диктатуры сдерживают творческий поиск в решении проблем и предлагают не столько самореализацию, сколько выживание. Таким образом, по мнению Дьюи и его последователей, несмотря на то, что творческий потенциал человека реализуется при всех формах правления и во всех типах политических систем, лучшие возможности для

cal Creativity. Ideology After Union / A. Etkind, M. Minakov (eds.). Stuttgart, 2020.
Стр. 9–18.

¹⁷ См.: Dewey J. Creative Democracy — The Task Before Us. Стр. 64–66.

выживания и эволюции человечества предоставляют политические институты, поддерживающие открытость к индивидуальному и коллективному поиску решения проблем. Позже концепция «открытого общества» Карла Поппера, теория справедливости Джона Ролза и модель просвещенного «общества риска» Ульриха Бека обогатили либерально-демократическую перспективу пониманием того, как жизнь, свобода и рациональность взаимно поддерживают друг друга в индивидуальных и коллективных творческих актах.

Социалистический или социал-демократический подход к политическому творчеству стремится перенести акцент с рациональных и нормативных основ на социальное действие. Например, Карл Маркс, Юрген Хабермас и Ханс Йоас, несмотря на серьезные различия в их позициях, стремятся указать на социальные структуры, обуславливающие и направляющие человеческое творчество, а также создающие условия для отчуждения индивида и группы от результатов их труда¹⁸. Теории капитала, коммуникативного действия и «творческого действия» создают основу для практик, вовлекающих индивидов и группы в совместные обсуждения и действия, способствующие социальному прогрессу и групповой эманципации.

Многие консервативные теории рассматривают политическое творчество как длительный процесс, исторически укорененным субъектом которого является традиция, коллективный межпоколенческий субъект, преодолевающий несовершенство и ограниченность индивида. Консервативная оптика — как на Западе, так и на Востоке и на Юге — рассматривает творчество как пространственно распространенный и темпорально-непрерывный процесс, собирающий социально-политические достижения прошлых поколений в единую

¹⁸ Тут следует указать прежде всего на следующие труды: *Marx K. Capital: Volume I*. London, [1867] 2004; *Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1: Handlungsrationale und gesellschaftliche Rationalisierung*. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt am Main, 1981; *José H. The Creativity of Action*. Cambridge, 1996.

структуре с неизменной идентичностью. Эта идентичность, как правило, проистекает из некоего идеального события прошлого, такого как Божественное Откровение или гениальное открытие мудреца, ведущее к утверждению модели онтологически встроенного, аутентичного, исторически справедливого порядка. В этом контексте творчество нынешних поколений направлено на применение идеальной модели, сияющей из прошлого и служащей примером для политических решений и действий сейчас и в будущем¹⁹. Постоянный диалог между прошлыми и нынешними поколениями какой-либо религиозной, этнической, расовой или иной группы занимает у консервативных мыслителей центральное место, какую бы позицию они ни занимали, реакционную или революционную, в этом весьма разнообразном «идеологическом лагере».

Политическое творчество является также проблемой для теоретиков революции. Разнообразие мнений в рамках этой перспективы простирается от ленинского тезиса о «живом творчестве масс» до арендтовской* интерпретации революции как совпадения «свободы и опыта нового начала». Несмотря на очевидные противоречия между их полярными позициями, обе позиции рассматривают революцию как время и пространство, где разрушаются существующие структурные препятствия (социальные, экономические, политические и т.д.), и высвобождающаяся таким образом творческая человеческая энергия, будь то энергия индивидов, восставших групп или массовых движений, имеет историческую возможность положить беспрецедентное начало, ведущее к новому выражению человеческого существования в социально-политической сфере (Арендт) или историческому изменению в направлении

19 Эту логику, например, можно увидеть в работах столь разных «консерваторов», как, например, Шатобриан, Хомейни, Хантингтон, Люббе или Дугин. См.: *Chateaubriand F. R. Génie du christianisme*. Paris, [1838] 2000; *Khomeini R. M. M. Forty Hadith. Tehran-Paris*, [1940] 2001; *Huntington S. P. The Clash of Civilizations?* New York, 2000. Стр. 99–118; *Lübbe H. Zwischen Trend und Tradition. überfordert uns die Gegenwart?* West Berlin, 1981; Дуин А. Философия традиционализма. М., 2002.

освобождения человечества (Маркс и его последователи). Следовательно, сама революция рассматривается как событие великого политического творчества, которое обычно ограничивается или блокируется политико-экономическими и идеологическими структурами.

Наконец, политическое творчество находится в центре внимания мыслителей, работающих над идеей государства развития²⁰. В отличие от теоретиков революции, эти мыслители обращают внимание на политическое творчество во времена социального порядка, а не в моменты революционного хаоса. Как справедливо отметил Павел Кутуев²¹, в их теориях государство рассматривается как агент прогресса, создающий условия для модернизации и направляющий ее, преобразующий творческий процесс, объединяющий индивидуальные усилия, проекты малых групп и программы национального развития, а также приносящий изменения во все сферы, включая социальную, политическую, экономическую и культурную.

Различия между этими перспективами и внутри них в понимании политического творчества симптоматичны. Трансгрессивное и синтетическое свойства политической креативности по-прежнему вызывают дискуссии, но в целом разные позиции сходятся в том, что креативность проявляется как в теории, так и на практике, как в универсальных претензиях систем ценностей, так и в конкретных идеологиях. В силу этого, если задаться целью изучить тот или иной исторический период с точки зрения политического творчества, необходимо будет рассматривать результаты этого творчества одновременно при демократии и автократии, в связи с правами личности и с коллективной автономией, в революционные моменты и в ходе

²⁰ Например, см.: Keynes J. M. *The End of Laissez-Faire* // *The Keynes Reader*. London, [1926] 2010. Стр. 272–294; Huntington S. P. *Political Development and Political Decay* // *World Politics*. 1965. № 3. Стр. 386–430; Calder K. E. *Strategic Capitalism*. Princeton, 1995; Sen A. *Development as Freedom*. Oxford, 2001; Гайдар Е. Государство и эволюция. М., 2022.

²¹ См.: Кутуев П. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології. Херсон, 2016. С. 61–63.

постепенного развития (что и будет сделано в последней части данной книги в отношении достижений постсоветской креативности).

Однако политическое творчество и его достижения обусловлены не только изменениями материальности социальной реальности. Участие в политике и горизонты политического творчества человека связаны с социальным воображением^{*}, объединяющим мышление и практику, индивидов и группы, идеальный и реальный планы существования. Человеческое воображение — это сложный когнитивный акт. Он объединяет различные способности человека в достижении устойчивых когнитивных и экзистенциальных позиций — идей, решений, убеждений, которые воплощаются в поведении, — и изменении реальности. Создавая образы и вызывая изменения мира, человеческое воображение является ключевым элементом человеческой способности творить.

В течение более двух тысяч лет философы считали воображение когнитивной способностью, соединяющей фантазию (Платон, Аристотель) и продуктивность (Кант), позволяющей понять других людей и/или само бытие (Хайдеггер, Рикер). Краткое резюме этой долгой эволюции нашего понимания воображения предложил Поль Рикер. Включая модусы фантазии, виртуальности и возможности, воображение позволяет решать проблемы, то есть управлять ситуациями неопределенности, работая с прошлым (память), с будущим (возможность) и с текущей ситуацией (интеллект)²². Но куда более важным аспектом воображения является его сила воздействия, работающая на объединение когнитивных, эмоциональных, социальных, политических, культурных и других элементов существования в единый опыт. Именно в воображении проявляется сила человеческого существования совершать экзистенциальные «наброски» в Ничто и исполнять спроектированное в наших

²² Об этом см.: Dewey J. Liberalism and Social Action. New York, [1935] 1998. С. 32, 87 и далее; Rorty R. Truth and Progress: Philosophical Papers. Cambridge, 1998. Vol. 3. С. 167 и далее.

жизнях, позволяя задуманному сбыться (Гуссерль, Хайдеггер, Сартр, Шюц, Касториадис). Итак, воображение — это важнейшая способность человека конструировать социальную реальность и себя в соответствии с личным замыслом и коллективной идентичностью. Воображение оказывается источником смысла социальной жизни, обеспечивающим индивидам и коллективам рамки для интерпретации и практического изменения реальности.

С точки зрения политической теории «процесс воображения распространяется не только на то, как мы предвидим развитие нашей личной жизни, но и на то, как мы представляем себе будущее наших социальных групп, будь то микрогруппы, такие как семья, или макрогруппы, такие как народы или нации, или даже предвидим судьбу самого человечества»²³. Политическое воображение придает смысл нашему творчеству и морально вовлекает участников политической койнодии в совестные креативные процессы как соавторов трансперсональных, воображаемых — а значит, социально реальных и аффективно воспринимаемых — политических проектов.

Политическое воображение — одна из важных сторон политического творчества, и именно поэтому, оценивая результаты политического творчества в определенные эпохи, необходимо рассматривать не только материальность, но и воображение этого периода. В политическом действии мы не только разрушаем и конструируем, но и легитимируем сами эти действия, используя общие понятия и термины. И чем ближе к современности, тем больше роль социально-политических дисциплин в этой легитимации. И в нашей книге отдельный раздел посвящен тому, как мы понимали и в каких терминах описывали постсоветский период.

23 De Saint-Laurent C. Thinking Through Time: From Collective Memories to Collective Futures / C. de Saint-Laurent et al. (eds.) // Imagining Collective Futures: Perspectives from Social, Cultural and Political Psychology. London, 2018. C. 4.

Рамки постсоветского периода

Трансгрессивно-синтетическая сила творчества и соответствующего воображения особенно заметна в моменты значимых политических событий, вовлекающих все человеческие экзистенции в общий процесс мышления и практики. Глубокие политические кризисы могут стать историческими цезурами* — событиями, в которых происходит своего рода «бросок костей», которые меняют мир и наше в нем присутствие в соответствии со случайно выпавшей комбинацией значений.

Примером цезуры — поворотного момента, завершающего длительные процессы некоторого периода и проявляющего онтологические, экзистенциальные и политические структуры Истории, — является революционная пора 1989–1991 годов. Для сообществ, живших между Черным и Белым морями, от восточных отрогов Альп до камчатских сопок, эти несколько лет стали событием переосмысления своей недавней истории, отказа от политических систем и идеологий, связанных с советским марксизмом и потестарными* практиками восточного блока, а главное — наброском политических проектов в Ничто будущего, положением новых начал новой посткоммунистической эпохи.

Итак, постсоветский период начался с цезуры 1989–1991 годов. Этот исторический период можно определить пространственными, темпоральными и идейными рамками. В пространственной перспективе постсоветский период касается стран и сообществ, оформившихся после (но не обязательно вследствие) распада Советского Союза. Его временные рамки: приблизительно тридцатилетие между цезурой 1989–1991 годов и цезурой, начавшейся в 2022 году.

Поскольку данный период связан и с советской эпохой, важно указать и на ее рамки. Советская длительность протекала из цезуры, разверстой *Красным Октябрем* 1917-го и долгой *Гражданской войной*, продолжившей на просторах Восточной Европы и Северной Евразии сверхнасилие Первой мировой войны. Конец этой длительности положила

перестройка, высвободившая силы гражданской, религиозной, предпринимательской и этнонациональной эманципации, что в свою очередь привело к разрыву этой длительности в цезуре между 1989 и 1991 годами. Для советских практик, ценностей и институций *перестройка* была поистине *катастройкой* — развалом политической системы, массовым отказом от ценностей, укорененных в советском марксизме и потестарных практиках, неспособностью властных элит удержать контроль над страной с помощью прежних инструментов. Для людей и сообществ, живших в СССР, период 1989–1991 годов стал революционным периодом, открывшим возможности для построения новых республик, национальных государств, открытых рыночных экономик, функциональных демократий и обществ, ориентированных на взаимодействие в рамках общеевропейского регионального проекта.

Постсоветский период был приблизительно тридцатилетием между 1991 и 2022 годами, предоставивший отдельным человеческим существованиям и сообществам на востоке Европы и севере Евразии возможность проявить свою разрушительность и созидательность, силу воображать и действовать, приверженность свободе и страх перед ней, способность мыслить и предавать дело мышления в уникальных социально-культурных условиях. Мы рассмотрим то, как разрушительно-созидающее существо обнаружило себя в форме постсоветского человека — людей, получивших небывалые возможности для созидания свободных обществ, государств и экономик после опыта жизни в условиях длительной, почти вездесущей несвободы советской Системы.

Слово «постсоветский» у многих вызывает симптоматичное неприятие, особенно в последние лет пятнадцать, когда «третья автократическая волна» возвращала к жизни практики и идеологии несвободы, ассоциирующиеся у постсоветского человека с советским наследием. Так, например, чем глубже общества нашего региона погружались в состояние идеологической монополии, варьирующейся от национал-консерватив-

ных до суверен-империалистических «ценностей», тем жестче мы реагировали на поминание «советского», даже с приставкой «пост». После распада Советского Союза завершение всего «советского» на определенном уровне реальности действительно случилось к концу 1991 года. Но на других уровнях советское общество продолжило существовать в разных экономико-политических образованиях. Думаю, будет верно утверждать, что с распадом Союза оно не исчезло — его стало больше, оно разделилось на полтора десятка, и в ряде стран эти осколки «советского» выживали в виде местных сообществ или как межнациональные социальные страты (например, в трех Балтийских республиках, Молдове, Украине). Есть страны, где советское общество в новых социально-экономических и политических условиях почти полностью сохранило себя и продолжило свой исторический путь (например, в Беларуси и Приднестровье). Или же есть страны, где советское общество ушло в прошлое, поглощенное демодернизационной волной 1990–2000-х годов, оставив лишь след в коллективной памяти да нескольколастных практик (например, в Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане или Туркменистане).

В этой книге я буду использовать термин «постсоветский», упирая не на вторую часть слова, а на первую. Таким образом, термин означает исторический период, в основе социальности которого лежит опыт отрицания советских практик и ценностей. Этот опыт — опыт самопреодоления позднесоветских людей, сообществ и народов. Это самопреодоление начиналось со странных актов *перестройки*: например, с попытки ограничить алкоголизм, позволить малый кооперативный бизнес и разрешить религии выйти из подполья. Постсоветская эпоха продолжилась в отчуждении от советского опыта, и в вытеснении индивидуального и коллективного опыта возник типаж постсоветского человека.

По сути, постсоветский человек — это общее обозначение нескольких поколений людей и обществ, чьи коллективные опыты самопреодоления были связаны с разрушением

советского социального мира и революционной попыткой созидания новых социальных миров в Восточной Европе и Северной Евразии в период между 1991 и 2022 годами. Постсоветский период стал временем преодоления советско-коммунистического наследия, попыток покончить с тоталитарным (и посттоталитарным) советским опытом и стремления выйти из «колей» как империализма, так и колониальности. Трагедия постсоветских людей и народов состояла в том, что они создавали свое будущее с оглядкой на прошлое, а значит, следуя ему и предавая те новые начала, которые они сеяли в революционный период, стартовавший в 1991 году.

Для этой книги важно концептуализировать постсоветский период как предмет исследования. Учитывая множество социальных травм и политических ангажированностей, связанных с советским и постсоветским наследиями в Восточной Европе и Северной Евразии, превращение недавнего социального опыта в предмет исследования требует немалых усилий. Усилий, направленных на то, чтобы вынести за скобки наши предубеждения и ангажированность, трезво взглянуть на события и процессы — социальные, политические, экономические, культурные и т.д. То есть на все то, что составляло постсоветский период. Так мы можем сосредоточить внимание на практиках и процессах в обществах Восточной Европы и Северной Евразии с точки зрения результатов творчества, которые представлены одновременно двумя тенденциями. Во-первых, это творчество было неразрывно связано со стремлением избавиться от тоталитарного и позднесоветского авторитарного наследия СССР. А во-вторых, это творчество было сеянием новых начал в форме постсоветских политических наций, экономик и государств. При таком понимании постсоветского периода можно различить своеобразный баланс между разрушением прошлого и коллективными инновациями. Этот подход также открывает для изучения недавно завершившийся исторический период с позиции, в которой идеологический заряд будет уступать герменевтически^{*} оправданному анализу: мы сможем

посмотреть на прошлое тридцатилетие как на мир, в котором восточноевропейские и североевразийские общества жили и проявляли свое присутствие с помощью как социальной деструктивности, так и политической креативности, как силы воображения, так и способности действовать, как приверженности свободе и богатству, так и страху перед ними.

Такого рода концептуализация постсоветского периода основана на понимании истории как сочетания дления и цензуры. Дление — это элемент истории, обеспечивающий пространство и время для человеческого творчества. Цензура — элемент истории, в котором одно дление полностью или частично завершается, а новое получает возможность начаться, открывая тем самым возможности и вызовы для человеческого творчества в новый исторический период.

Примером цензуры является разрыв советской длительности в 1989–1991 годах, когда распался СССР, завершился развал восточного блока и пришла к полному завершению холодная война. Для обществ новообразованных государств региона эти несколько лет стали временем переоценки своего недавнего прошлого, отказа от политических систем, основанных на советском коммунистическом воображении, и запуска новых коллективных социально-политических проектов, которые сформировали новое историческое время и пространство.

Понимание истории как совокупности длений и цензур позволяет взглянуть на постсоветский период как на время между двумя цензурами. Постсоветский период начался с цензуры 1989–1991 годов, когда коммунистический строй был разорван и заложены начала нового периода. В пространственном отношении постсоветский период охватывает общества и сообщества, сформировавшиеся во время и после распада Советского Союза. Во времени этот период растягивается примерно на 30 лет между цензурой 1989–1991 годов и той цензурой, что разверзлась с момента нападения России на Украину в феврале 2022 года. Во всемирно-исторической перспективе постсоветский период можно описать как состояние, в котором были

высвобождены силы политической, гражданской, религиозной, предпринимательской и этнонациональной эмансиации. Этот творческий процесс разворачивался одновременно с попытками использования идей и моделей западного опыта в формировании новых социальных миров Восточной Европы и Северной Евразии. В тумане цезуры 1989–1991 годов и в пылу последовавшей за нею революционной поры для народов региона путеводной звездой стала идея Европы. Именно она служила своего рода *конституирующей идеей*, делавшей возможным постсоветское дление как сплава разнообразнейших процессов построения функциональных демократий, экономик с открытым рынком, новых национальных государств и правовых систем, а также их противоположностей — автократизации*, системной коррупции и антизападничества.

Учитывая цезуру 2022 года и разрушительные региональные процессы, продолжавшиеся в 2023 году, можно сделать вывод, что постсоветский период стал новым — вторым — межвоенным периодом, или «межвоенем». Первый межвоенный период длился между двумя мировыми войнами XX века и имел не только европейское, но и глобальное значение. Второй период — постсоветское межвоене — имел региональное значение и простирался от завершения холодной войны до новой российско-украинской войны с ее особым типом коллективного творчества и социального воображения, где мир и свобода имеют меньшее значение, чем безопасность и дисциплинированность.

С точки зрения политического творчества постсоветский межвоенный период был представлен четырьмя упомянутыми выше тенденциями постсоветской (и даже шире — посткоммунистической) диалектической тетрады, состоящей из: 1) демократизации, зачастую переходящей в автократизацию; 2) маркетизации*, разрывавшейся между приверженностью открытому глобальному рынку и соблазнами олигархического контроля; 3) национализации, колеблющейся между соблазнами демократического универсализма* и суверенистского

партикуляризма^{*}; и, наконец, 4) европеизации, которая из процесса панконтинентальной гармонизации превратилась в конкурирующие проекты ЕС, НАТО, AUKUS, Евразии, Междуречья и «конечной станции» Нового шелкового пути. Эти четыре диалектически противоречивых тенденции структурировали дление постсоветского периода, организуя события и процессы, происходившие с индивидами, сообществами и целыми обществами региона, а также их самопонимание и самоописание.

В своей идеальной форме постсоветский транзит замышлялся как единство демократического, рыночного, национального и регионального строительства. Так, демократизация была мощным процессом, направлявшим политическое творчество постсоветских обществ на построение новых политических культур, систем и режимов, основанных прежде всего на разделении верховной государственной власти между автономными ветвями, а также между центральными и местными органами управления. Кроме того, демократизация полагалась на верховенство закона и ведущую роль прав человека и гражданских свобод в строящихся политико-правовых системах. Неотъемлемой частью этого процесса был идеологический плюрализм, разнообразие партий и конкурентные выборы. Демократизация также предполагала влиятельность независимых СМИ и гражданских организаций²⁴. Хотя постсоветское распространение демократии было частью более широкого глобального процесса — «третьей волны демократизации», оно имело свою специфику: изобретением государств, основанных на политической свободе и демократических институтах, в начале 1990-х годов занимались люди, не имевшие непосредственного опыта таких свобод и находившиеся под сильным влиянием западных политических и экономических моделей.

24 Об этих измерениях демократизации см.: Dryzek J. S., Holmes L. Post-Communist Democratization: Political Discourses across Thirteen Countries. Cambridge, 2002; Gel'man V. Post-Soviet Transitions and Democratization: Towards Theory-Building // Democratization. 2003. № 2. Стр. 87–104; Gunitsky S. Democratic Waves in Historical Perspective // Perspectives on Politics. 2018. № 3. Стр. 634–651.

Маркетизация по замыслу должна была стать процессом, направлявшим творческий потенциал постсоветских обществ на создание новых экономик, ориентированных на неолиберальную рыночную модель и участие в глобальной экономике. Ождалось, что экономическая трансформация пойдет путем приватизации огромного социалистического экономического наследия, создания предпринимательского класса, который будет «двигать рынок», и «среднего класса» экономически самодостаточных граждан, которые не захотят зависеть от правительства, будут требовать уважения их политических свобод и при этом будут активными потребителями, поддерживающими рыночные отношения. Таким образом возникающая социально-экономическая структура с ее новыми классами не позволила бы коммунистам вернуться к власти и обеспечила бы демократической политике подходящий экономический фон и соответствующую классовую структуру²⁵.

Национализация стала процессом двойного укоренения новых постсоветских государств в новых нациях, а новых наций — в государствах, оставляя на окраине процессов свои страны и население. В 1990-е годы считалось, что та или иная форма национализма (будь то гражданский или этнический) создаст стабильное большинство населения, идентичность которого станет поддерживать или по крайней мере не будет враждебной по отношению к либеральной демократии и рыночной экономике²⁶. Обычно нация понимается как большая, исторически значимая устойчивая группа, возникшая на основе общего социального и культурного опыта. Но в пост-

25 О «рыночной идеологии» 1990-х см.: *Aslund A. How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia. Cambridge, 2013; Horvat P., Evans G. Age, Inequality, and Reactions to Marketization in Post-Communist Central and Eastern Europe // European Sociological Review. 2011. № 6. Стр. 708–727.*

26 См.: *Brubaker R. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States // Ethnic and Racial Studies. 2011. № 11. Стр. 1785–1814. С. 1786–1788; Tismaneanu V. Fantasies of Salvation: Democracy, Nationalism, and Myth in Post-Communist Europe. Princeton, 2009. С. 16 и далее.*

советском состоянии государственное строительство совпало с процессами разделения советского общества по национальным границам и появлением новых национальных обществ. Неновые нации формировали новые государства, а раннепостсоветские элиты строили и национальные государства, и государствообразующие нации. А те группы населения, которые не вписывались в рамки конструкций, были обречены на бедность и неучастие. Сложные, неэтнонациональные государства (такие как СССР, Югославия или даже Чехословакия) уходили в прошлое, а постсоветское население оказывалось разделенным не только по принципу доходов (на бедных и богатых), но еще и на группы, фрагментированные напряжением между тремя брубейкеровскими²⁷ полюсами: «националистическими государствами» с их воображаемым большинством, новыми национальными меньшинствами, воображавшими, что они сосуществуют с большинством, и «внешними отчизнами» меньшинств, которые отчасти связывали свою идентичность с соседними национальными государствами²⁷. В столь разорванных обществах управлять демократически и мирно становилось все сложнее.

Четвертая составляющая постсоветского развития — европеизация — предполагала региональную интеграцию, направленную на то, чтобы политические, правовые и экономические системы, а также сами общества могли унифицировать и гармонизировать свои нормы и ценности. Что привело бы к длительному и мирному сосуществованию и сотрудничеству между странами Восточной и Западной Европы. Проект «общеверопейского дома» находился под сильным влиянием идей поколения Михаила Горбачева — Гельмута Коля (или, если угодно, Юргена Хабермаса^{*} — Александра Яковлева, или плеяды авторов Парижской декларации 1990 года). Согласно той идее, будущая

²⁷ Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, 1996.

Европа должна стать пространством мира и сотрудничества между народами от Дублина до Владивостока²⁸.

В начале 1990-х годов эти четыре тенденции, а также идеи и модели, связанные с ними, практиковались и представлялись взаимодополняющими. Однако довольно скоро стало ясно, что они вели к противоречиям, а то и подрывали эффективность друг друга. Постсоветская национализация государств, приватизация экономик, равенство всех граждан перед законом и поощрение особых прав национального большинства редко гармонировали друг с другом. Противоречия, а также ослабление революционного импульса к середине 1990-х привели к тому, что эти тенденции зачастую превращались в свою противоположность. Так, например, демократизация часто разочаровывала и подталкивала постсоветские народы к лидерству в «третьей волне автократизации». Автократизация — это ведь не просто упадок демократии (*democratic failure or decline*), это процесс с гораздо большей амплитудой: он всеобъемлющ и включает в себя как демократический спад, так и резкое разрушение демократии и собственно автократическую консолидацию²⁹. Важно подчеркнуть, что автократическая тенденция имеет свою собственную субстанциальность и не является только отсутствием или сворачиванием демократии. Автократии такие же продукты политического творчества, как и демократии. Точно так же и «третья волна автократизации» не есть спад «третьей волны демократизации». Это самостоятельный длящийся глобальный политический

²⁸ Avdaliani E. The End of “Europe from Lisbon to Vladivostok”. The Bar Elan University, 08.03.2019. URL: <https://besacenter.org/economic-space-lisbon-vladivostok/>; Minakov M. Big Europe's Gap: Dynamic Obstacles for Integration Between EU and EAU / A. Di Gregorio, A. Angeli (eds.) // The Eurasian Economic Union and the European Union: Moving Toward a Greater Understanding. The Hague, 2017. Стр. 45–56; Sakwa R. Sad Delusions: The Decline and Rise of Greater Europe // Journal of Eurasian Studies. 2021. № 1. Стр. 5–18.

²⁹ Это отчасти обсуждают Люрманн и Линдберг в: Lührmann A., Lindberg S. I. A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It? // Democratization. 2019. № 7. Стр. 1095–1113. С. 1099.

процесс, начавшийся примерно в 2008–2012 годах. В ходе его «число стран, переживающих демократизацию, сокращается, в то время как... авторитаризация вовлекает все больше стран»⁵⁰. Внутренние и международные конфликты, которые нарастили в постсоветских обществах задолго до 2008 года, обострились под влиянием глобальной авторитаризации и обусловили масштабный военный конфликт на востоке Европы, положив конец постсоветскому периоду в 2022 году.

Точно так же, как демократизация срывалась в авторитарию (и возвращалась обратно на магистраль истории, как, например, в случае украинской «оранжевой революции»), так и свободный рынок под влиянием противоречий мог трансформироваться в олигархический рынок. Национальное государство вместо приверженности либеральной демократии создавало запрос на управляемую «сouverennу демократию» (не только в Беларуси или России, но и в таких странах — членах ЕС, как Венгрия или Польша, пусть и с меньшим уровнем управляемости). А европейский проект в инклюзивных рамках — организаций типа Совета Европы или ОБСЕ — стал провоцировать деление на регионы ЕС и не-ЕС, еврозоны и внешнезональные валютные режимы, системы безопасности НАТО и стран — потенциальных противников и так далее. В этой связи постсоветскую тетраду следует описывать уже как четыре противоречивых тенденции: демократизация-авторитаризация, колебание рынков между экономической свободой и олигархическим управлением, качание национального государства между либерализмом и суверенизмом, а также развитие региона Большой Европы то по геополитической гармонизирующей оси «Дублин — Владивосток», то по катастрофической символической оси «Ольстер — Магадан».

Итак, постсоветский период закончился несправедливым нападением Российской Федерации на Украину. Это событие ознаменовало завершение постсоветской

длительности и привело в движение катастрофические процессы, которые окончательно дезинтегрировали постсоветский регион и поставили под угрозу глобальный порядок, основанный на правилах geopolитического западного ядра. С началом цenzуры 2022 года процессы постсоветской тетрады не влияют ни на текущую политическую и экономическую ситуацию, ни на социальное воображение властных элит и населения Большой Европы. Постсоветский период завершился, став цельным и определяемым предметом для социально-философского анализа и интерпретации.

Структура книги

В книге мы рассмотрим, как именно проходил транзит, как менялось наше понимание набора тенденций и к чему привел этот период. Диалектика постсоветского периода основывалась на связи и противоречиях нескольких базовых концептуальных пар — свобода и подчинение, богатство и бедность, индивидуализм и коллективизм, мир и война, — которые понимались и практиковались специфично для постсоветской эпохи. Эту специфику мы рассмотрим с точки зрения исторической практики, социального воображения и своего рода «достижений» в построении политико-правовых и социально-экономических систем. В первой части я покажу в транснациональной перспективе, какие периоды прошли постсоветские народы от рывка к свободе в 1991 году до погружения во все более кровавые конфликты к началу 2022 года. Во второй части — как социально-политические концепции детерминировали и выражали представления о том, что происходит с постсоветскими народами в период с 1991 по 2021 год. И, наконец, в третьей части посмотрю сквозь призму достижений в терминах демократии и автократии на то, к чему привело политическое творчество постсоветского человека.

Важно отметить, что книгу я начал писать еще в постсоветский период, а завершил в глубинах новой цenzуры. Судя по всему, для наступающей эпохи постсоветский опыт важен

настолько же, насколько и досоветский с имперским, так же как и многие другие коллективные опыты, выходящие за рамки собственно *советского*. Новый период возникает в непредсказуемо фрагментирующихся Европе и Евразии, где политическое творчество не детерминируется советским опытом, но во многом связано с тем, чему мы научились в последние тридцать лет. Эта книга как раз об уроках — завещании постсоветского человека следующим поколениям, обреченным жить в Восточной Европе и Северной Евразии.

Часть вторая

Логика развития и этапы постсоветской межвоенной эпохи

История народов есть шкала человеческих бедствий,
деления которой обозначаются революциями.

Франсуа Рене де Шатобриан

Итак, постсоветский период вырос из цезуры 1989–1991 годов и завершился в цезуре социальных миров востока Европы и севера Евразии в начале 2022 года. Между этими двумя поворотными моментами политические сообщества, возникшие в результате распада Советского Союза и создания новых государств, пережили пять этапов. Первый этап связан с зарождением тенденций, составивших постсоветскую тетраду, выразившуюся в распаде СССР и открытии возможностей для политического творчества вне рамок советского дления (1989–1991). Второй этап был временем реализации революционных возможностей в виде возникновения новых властных элит в бывших советских республиках, запуска новых государственных проектов и рыночных реформ, а также поиска правил сосуществования постсоветских государств, закрепленных Будапештским меморандумом (1992–1994). Третий этап стал моментом стабилизации новых политических и экономических систем, когда население ушедшего в прошлое Советского Союза должно было принять новые условия существования и включиться в созданные структуры (1995–2000). Четвертый этап совпал с началом нового столетия и предоставил возможность постсоветским народам оценить результаты своего развития первого после распада Союза десятилетия и создания новых социальных миров; при этом нормы 90-х годов и их противоречия стали институализироваться и провоцировать обострение борьбы за власть, собственность и признание как

внутри постсоветских обществ, так и за границы их суверенитета, за место в мир-системе^{*} между странами (2001–2008). Наконец, последний этап проявился в усилении авторитаристических тенденций, углублении противоречий между более или менее свободными и более или менее богатыми постсоветскими странами. Тенденции вылились в конфликтности между народами и привели к собственно окончанию постсоветского периода (2008–2022). Далее рассмотрим каждый из этих этапов более детально.

Перестройка и революция 1991 года

Период *перестройки* (по воле властей или вопреки изначальному замыслу) стал временем завершения советской утопии, роста внимания советского населения к существующей социальной реальности и нарастания «чернухи» — особого скептического взгляда на социальную реальность и порождаемые ею иллюзии. Скепсис, как мне представляется, рождался из моральной травмы советского общества: ранее репрессируемые в коллективное подсознание травматические воспоминания о событиях советской истории были допущены в центр публичных дебатов и осознания обществом. Советская тотализирующая идеология отрицала ежедневный индивидуальный опыт, а ее язык был основан на «бездонных» выражениях — слова имели смысл внутри предложений, но имели мало связи со значением, то есть не имели референции по отношению к реальному состоянию дел. Владимир Сорокин в своих предперестроековых романах «Норма» (1983) и «Тридцатая любовь Мариной» (1984) удачно воплотил широко распространенную обыденность разрыва смысла и значения. Эта же разорванность сквозила в двойственных структурах «вернувшегося» к читателю булгаковского романа «Мастер и Маргарита» (1940) и в новом пронзительно-честном романе «Плаха» Чингиза Айтматова (1986). Для литературоцентричных советских народов той поры эти тексты были симптоматичны: все явственнее становилось понимание хаотичности мира, несвязанности его «этажей»,

наличия скрытых уровней и нарочитой фальшивости видимых слоев социальной реальности. Советский мир на глазах распадался на малосвязанные между собой элементы, что создавало еще больше препятствий для человека, стремившегося к подлинности. Если в *среднесоветском послевоенном мире* — при всем его цинизме и двоемыслии — было ясно, куда ведет путь подлинности и что за него придется заплатить, то в *позднесоветском мире* социальный хаос предлагал слишком много ветвящихся путей, чтобы выбрать один верный.

Локальная гегемония советской идеологии, альтернативной по отношению к глобальной гегемонии неолиберального потребительского капитализма, завершалась с началом значимых дискуссий в советском обществе. Эксперимент с сухим законом привел к отчуждению правящей группы и советского населения, накоплению огромной социальной энергии, не находящей более успокоения в алкогольном делирии. Смена политики компартии в пользу гласности и ослабление партийного контроля за прессой неожиданно сделали советскую прессу органами информирования и публичной дискуссии. Одновременно эту прессу стали читать и на нее подписываться десятки миллионов отрезвевших читателей, превращавшихся — зачастую поневоле — в граждан. Так *перестройка* стала временем возникновения позднесоветской публичности и узнавания себя советскими обществами — классово, национально и культурно разнообразными и не осознающими самих себя множествами с увядающей советской гегемонией³¹.

Узнавание себя советскими множествами стало не столько обобщающим, сколько разобщивающим опытом. Открывающиеся пропасти советской истории и реальности настолько не совпадали с официальной идеологией и утопическим устоявшимся образом себя, что возникла трещина, затем превра-

³¹ Но едва эта союзная публичность возникла, как тут же стала дробиться на локальные пространства публичности. Этот процесс не завершился с распадом Союза и возникновением национальных государств, он, пожалуй, длится и до сих пор.

тившаяся в невыносимый разлом советской коллективной идентичности. За крахом коллективных идентичностей следует встреча с собой и собственной безосновательностью, с Ничто. Массовая встреча с Ничто при разрыве с прошлым углубляла цезуру и фрагментировала общество, выявляла его неструктурированность и случайную множественность (*multitude*). Советских «обществ» становилось много, и посткоммунистический транзит стал временем их переосмысления и переизобретения себя, как правило, трояко: либо в этнонациональных рамках, либо в радикально-индивидуалистическом самоопределении, либо в терминах гражданских сообществ.

Этот опыт был настолько же деструктивным, насколько и конструктивным. *Перестройка* (безотносительно замысла ее «прорабов») отметилась возникновением гражданских горизонталей, в рамках которых стали происходить дискуссии о наивысшем общем благе: что-то давно забытое, предсоветское, связанное скорее с Февральской революцией и разнообразием ее локальных республиканских проектов³². Эти горизонтальные сети в кратчайшее время стали образовываться по национальному и этноязыковому принципу, запуская, с некоторыми исключениями, национализацию советских республик и политизацию некоторых локальных нереспубликанских сообществ (либо этнических меньшинств, как в Абхазии или Нагорном Карабахе, либо советских сообществ, отвергавших национализацию республик, как в Крыму или Приднестровье)³³. Советский человек мыслил не только в категориях класса, но и в категории по-советски понятой *национальности*. Чем ближе к распаду СССР, тем больше это этнонациональное воображение поощрялось, запуская процессы, позже приведшие

32 См. об этом подробнее: Minakov M. (Not Only a) Russian Revolution: Centennial Meditations // Kennan Focus Ukraine. 07.11.2017. URL: <https://bit.ly/3ErSFAY>.

33 Об этом см.: Brubaker R. Nationalizing States Revisited. Стр. 1785 и далее; Sasse G. The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict. Cambridge, 2007; De Waal T. Uncertain Territory // New Eastern Europe. 2018. № 3–4. Стр. 7–14.

к оформлению проектов постсоветских государств и национальностей.

Одновременно с этим усиливались ценности и практики индивидуализма. В *перестройку* советский человек открыто озвучил заявку на право приватности — в бизнесе, в религиозной сфере, в интимности и сексуальности. Несмотря на тоталитарные попытки контролировать приватность подрывом морально-экономической автономии семьи, насилиственной секуляризацией (запрет на автономию общения с трансцендентным), уничтожением традиционной общины и изобретением советского города с неэмансипированными горожанами (коллективизация и индустрIALIZация), нерешением «квартирного вопроса» (сверхжатие сферы интимности), криминализацией предпринимательства (монополизация капитала государством) и т.п., приватная сфера едва находила себе место на периферии советского общества. Во времена же *перестройки* институты и практики частной сферы вернули себе легитимность. Но этот новый опыт совпал с восприятием ближнего как подозрительного конкурента, а не сотоварища и сограждана. В силу этого формировался индивидуализм в его конфликтной, противодействующей солидарности форме, особенно в межклассовом и межэтническом форматах. Позже это выльется в симптоматичное постсоветское обесценивание социальной справедливости настоящего и в фокусирование на исторической коллективной справедливости. Первыми проявлениями этого были этнические конфликты на Южном Кавказе и в Средней Азии и повсеместная — социально и географически — криминальная революция.

Фактически *перестройка* после 1988 года привела к возращению бифуркации в публичной и приватной сферах — делению, уничтоженному сталинским тоталитаризмом и питавшему позднесоветский авторитарный режим. В 1989—1991 годах это деление привело к появлению пространства для «приватных» и «публичных» революций. Тем самым катастро-

фически возникал новый мир с его возможностями для политического и экономического творчества.

Говоря о революции, я прежде всего следую представлению, основание которому заложила Ханна Арендт³⁴. То есть революцию я понимаю как время-пространство, когда и где культурные, социальные и политические структуры ослабляются настолько, что больше не могут сдерживать политический творческий потенциал граждан. Революция — это краткое (с точки зрения исторической хронологии) время и беспрепятственное (с точки зрения социально-политических структур) пространство для полагания новых начал в мире. В этом времени-пространстве человек, малые группы и большие общества вольны творить и открывать перспективы для будущего развития³⁵. Именно тут проявляется хрупкость уходящего мира и происходит зарождение проектов будущего, хотя лишь некоторые из них станут реальностью благодаря политическому творчеству и воображению участников процессов.

Революция 1991 года уникальна тем, что в ней происходило рождение новых начал и в публичной, и в приватной сферах. В этой связи постсоветское общество имеет смысл определять как вдвойне сконструированное: в самом процессе разделения советского универсума на две сферы новые начала (даже если они звучат как «возвращение к корням», «возвращение в Европу» или «возвращение в мировое сообщество»³⁶) полагаются одновременно в обеих сферах. Такое сверхусилие зачастую требовало мифа, равного по силе марксистско-ленинской утопии.

34 Arendt H. On Revolution. New York, 2006.

35 Больше об этом я пишу в: Минаков М. Диалектика современности в Восточной Европе. Опыт социально-философского осмыслиения. Киев, 2020. Стр. 20 и далее.

36 Интересно, что этот «возвращенческий» консервативный словарь был принят и западной социологией. См., например, терминологию для описания «ценостных ареалов» части посткоммунистических народов, таких как returned West, принятых в World Values Survey (Brunkert L., Kruse S., Welzel C. A Tale of Culture-Bound Regime Evolution: The Centennial Democratic Trend and Its Recent Reversal // Democratization. 2018. C. 4–5. DOI: 10.1080/13510347.2018.1542430).

Именно отсюда прорастает возвращение в политическом воображении лидеров начала 1990-х к пророчеству о земле обетованной. Многие национал-демократы конца 1980-х и начала 1990-х годов утверждали, что когда, как после Моисеева сорокалетнего кочевья, умрет последний человек, рожденный в советском рабстве, освобожденные народы достигнут подлинного национального суверенитета и полной свободы для своих народов.

Творческое начало человеческого существования проявляло себя не только в политической революции и национальном строительстве, но и в новых началах в публичной сфере. Параллельно с «публичными» происходили и «приватные» революции. Они включали в себя *предпринимательскую* революцию, *сексуальную* революцию, *криминальную* революцию, *религиозную* революцию и т.д. — список можно длить долго. Например, бизнес получил возможность действовать сначала как практика экономической рациональности «хозрасчета» и «кооперативного движения» и легализовал советское предпринимательское подполье, прежде криминализированное. Советский человек переизобретал капитализм и ценность денег. К 1992 году, с завершением цenzуры, чудо прибавочной стоимости уже формировало основания нового предпринимательского класса и учило население тому, что у денег центральная роль в жизни каждого человека, каждой семьи, каждого сообщества и народа. Свобода действовать, предпринимать и зарабатывать быстро победила в советских обществах независимо от географии и близости к союзному центру, а также вне зависимости от того, многие ли были реально готовы воспользоваться свободой такого типа и сколько рисков несла она для других.

Сексуальная революция открывала советскому человеку — в Алматы ли, в Киеве ли, в Москве ли — пространства для переизобретения чужой и переоткрытия своей телесности, для понимания радости и опасностей секса, для переоценки важности брака и семьи. Конкурсы красоты ломали советское пуританство. Идущая рука об руку с возвращающимся капи-

талистическим самоотчуждением проституция открывала денежное измерение новооткрытой телесности. Раскрепощение сексуального поведения отодвигало — а то и вовсе отменяло — «возраст» вступления в брак и деторождения, а также диктат традиции в выборе гендера. Планирование рождения становилось все более распространенной практикой. Гомосексуальность выходила из подполья. Под новые практики рождалась инфраструктура сексуальных услуг и услуг по продлению сексуальной жизни. Все эти начала достигнут своего пика в 1990–2000-е, но положены они были именно в период поздней *перестройки*.

Криминальная революция — смена поведения широких масс населения, для которых снижение репрессивности политического порядка означало свободу вне правового порядка. Неформальные правила советского криминального мира также быстро разрушались: старых «законников» отодвигали «новые беспредельщики». Криминальная революция вовлекала в разлучающие ряды ОПГ все больше молодежи, представители которой предпочли преступное предпринимательство и в одинаковой мере игнорировали устоявшиеся «воровские традиции» и официально санкционированные правила. Криминальная революция меняла речевые практики и словари не только социальных «низов», но и возникающих «верхов». Даже в 2022-м «мурчащие» интонации и специфический лексикон свойственны большинству выживших олигархов, «силовикам» всех уровней, бизнесменам средней руки и люмпенизованным сообществам. «Начальники», «беспредел» и «понятия» прочно вошли в языки самоописания постсоветской поры.

Разрешение советского руководства «отметить тысячелетие крещения Руси» в 1988 году открывало пространство религиозной свободы. Советский человек знакомился с христианством и исламом, перечитывая справочники атеиста с новым, неожиданным для их авторов интересом. Базовый опыт православия, разных исламских направлений, католичества, массы евангелических учений и беспрецедентно новых религиозных

учений был обретен еще до распада Союза и стал важной частью постсоветского опыта. Да, уже в XXI веке религиозный опыт снова оказался в тенетах мракобесия, клерикализма и конфессионального капитализма. Но религиозный опыт революции 1991 года был иным: это был опыт личной свободы, социального прогресса, открывающего возможность общения с трансцендентным. Именно так возникают фигуры уровня отца Александра Меня и Хафиза Махмутова, символизировавшие одновременно вероучения Христа и Магомета и свободу.

Стиснутое прокрустовым ложем советского правопорядка и правосознания общество расправляло плечи и познавало свободу в ее подчас самых радикальных и нигилистических формах не только в новооткрытом приватном пространстве³⁷. Публичная сфера предоставляла невероятные возможности для политического творчества советских сообществ.

Перестройка привела к цезуре 1989–1991 годов, к событию, сравнимому со старозаветным «смешением языков». Советское вавилонское столпотворение завершалось, а «языки» разрывали ткань советской социальности и начинали строить свои отдельные башни (или, как говорили в 1980-е, «свои национальные квартиры»). Начинающаяся национализация предлагала возможности для основания новых национальных государств³⁸. С 1988 года периферии СССР на Кавказе и в Средней Азии погружаются в этнические конфликты³⁹. В западных республиках СССР национальные движения приняли форму септицистских* движений с четко обозначенной целью — достижение независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Также возникали ирредентистские* движения в Молдове и некото-

37 В этой связи особенно интересна неудача правовой трансформации постсоветских народов, описанных в спецвыпуске журнала «Идеология и политика»: Antonov M., Vovk D. The Soviet and Post-Soviet Law: The Failed Transition from Socialist Legality to the Rule of Law State // Ideology and Politics Journal. 2021. № 2. Стр. 4–9.

38 Об этом больше см.: Brubaker R. Nationalizing States Revisited. C. 1786 и далее.

39 Об этом больше см.: Tishkov V. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame. London, 1997.

рых регионах союзных республик (например, в азербайджанском Нагорном Карабахе, молдавском Приднестровье и украинском Крыму). К концу 1990 года большинство республик и ряд автономных регионов объявили о своем суверенитете. Новоогаревский процесс, направленный на подписание нового Союзного договора в СССР, так и не завершился реформированием Союза. Советские консерваторы, организовавшие «переворот ГКЧП» накануне подписания нового договора в августе 1991 года, не смогли удержать власть и укрепить союзное правительство. Они, наоборот, ослабили «центр» и усилили позиции республиканских властных элит, выступавших за выход из Союза. Лидерами этого движения были Борис Ельцин в РСФСР, большая часть элит в Грузии, Латвии, Литве, Молдове и Эстонии. Осенью 1991 года эта же тенденция победила в Азербайджане, Армении, Беларуси, Узбекистане и Украине. В декабре 1991 года Беловежские соглашения и Алма-Атинская декларация закрепили распад СССР на национальные государства и создание Содружества Независимых Государств как механизма «мирного развода» ядерного государства. За тридцать лет народы-соседи из содружества наций эволюционировали по большей части в *совражество*, которое в 2022 году открыло новую цезуру в истории Восточной Европы и Северной Евразии.

Национальные революции 1991 года привели к созданию пятнадцати независимых государств по числу советских республик, а также нескольких непризнанных государств (например, Абхазия (Апсны), Нагорный Карабах (Арцах), Приднестровье и Южная Осетия — Алания). Также возникли сепаратистские проекты в других регионах (например, на Северном Кавказе, в Башкирии, Калмыкии, Крыму и Татарстане), которые время от времени в моменты политических кризисов давали о себе знать «материнским государствам». Хотя новые государства формировались как реализация политического воображения, где этнонациональные и либерально-демократические элементы слагались в легитимирующие представления, они преимущественно воспроизводили властные практики СССР:

как и в случае с советским обществом, с распадом Союза Советское государство не исчезало, а размножалось, увеличивалось числом. И замена «классовой» риторики на «этнонациональную»⁴⁰ не сильно меняла потестарные устремления государствообразующих элит.

Кроме национальных революций, *революция 1991* года включала в себя переизобретение практик демократии и идеологического плюрализма. Уже в СССР возникали новые партии союзного и республиканского значения. Поначалу это были Демократическая платформа в КПСС и республиканские гражданские движения в поддержку перестройки. В процессе кампаний по выборам в Верховные Советы СССР и республик 1988–1990 годов эти движения превращались в «национально-освободительные» движения или партии. Так возникли общесоюзная Социал-демократическая партия, литовская Коммунистическая партия (самостоятельная), Украинская республиканская партия или армянская «Дашнакцутюн»⁴¹. Первые партии строились по идеологическому принципу, собирая в новообразованные сети советских граждан, считавших себя приверженцами разных идеологий и представителями альтернативных политических сообществ — советского, национальных (грузинского, российского или украинского) или субнациональных (абхазского, русинского или чеченского). Идеологический плюрализм к 1991 году стал тем новым началом, которое делало возможными публичные дискуссии, политическое действие активных граждан и контрэлит, а также драматичные черты первых, еще советских, избирательных кампаний и референдумов 1988–1991 годов.

40 Классическим — и уже анекдотическим, но тем не менее правдивым — примером адаптации советского словаря к этнонациональным потребностям является попытка некоторых украинских специалистов в «научном коммунизме» заменить их дисциплину «научным национализмом». Однако уже в конце 1992 года от этой инициативы отказались.

41 Больше о позднесоветских партиях см.: Gill G. The Collapse of a Single-Party System: The Disintegration of the Communist Party of the Soviet Union. Cambridge, 1994.

Еще одним новым началом *революции 1991 года* была нормализация — и даже идеализация — неравенства, продвигаемая как новыми властными элитами, так и все еще советской интеллигенцией. Советское население, особенно в межвоенное время и до конца 1950-х, существовало при огромном неравенстве, которое, однако, было незаметным в условиях доминирующего тоталитарного воображения⁴². Неравенство — один из тех опытов, для которого в официальном советском словаре не было места. Лишь хрущевская оттепель отчасти дала голос этому опыту. Но «застой» погрузил носителей его в идеологический цинизм, советское потребительство и алкогольный делирий 1960–1980-х годов. Редкие диссиденты пытались озвучить этот феномен, как, например, Владимир Войнович в романе «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (т. 1, 1963). Но в вакууме советской публичности и под давлением гулаговской травмы голос не был услышан.

Однако уже в конце 1980-х — начале 1990-х неравенство под влиянием новой гегемонной идеологии (неолиберального рыночного фундаментализма) стало рассматриваться как норма и как движитель социального прогресса. Самое желанное неравенство было социально-экономическим: согласно новому неолиберальному воображению, воспринимаемому зачастую так же монистически, как когда-то марксизм, предпринимательский класс должен был обеспечить инновации в производстве и создать отсутствовавший в СССР сектор услуг. А это в свою очередь должно повысить качество жизни всех, а не только тех, кто будет получать выгоду от предпринимательства.

В реальности неравенство шло и глубже, и шире неолиберального представления. Сопутствующие формы неравенства включали в себя, например, деление на местных и приезжих. Это могло проявляться в форме неравенства по историческому

42 Впрочем, в советской запрещенной литературе тех лет это неравенство могло все же стать темой обсуждения. Например, в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова при обсуждении «дачного вопроса».

признаку: так делили тех, кто станет через несколько лет коренными гражданами и негражданами в Латвии и Эстонии. Или в форме «естественного» неравенства представителей этнического большинства и меньшинств — последние по определению были «понаехавшими», — что могло выливаться в этнические чистки, как произошло в регионах Азербайджана (в том числе в Сумгаите и Нагорном Карабахе), Армении или Грузии (в том числе в Южной Осетии и Абхазии); или в гражданские конфликты, как в молдавском Приднестровье; или в менее заметные формы локальной сегрегации, как в случае с дополнением к советским рублям купонов, дававших право на покупку в местности, где те купоны выпускали.

Все вместе формы нормализованного неравенства дали старт не только национальному, но и неолиберальному переизобретению государства. Государство должно было соответствовать этнолингвонациальному воображаемому большинству, то есть форматировать население в соответствии с представлениями властных элит, причем с помощью государственного аппарата, контролирующего сферы культуры, идентичности, языка и искусства. И в то же время государства должно было стать «меньше», особенно в сфере экономики, местного самоуправления и социальной ответственности. В частности, государство должно было передать львиную долю госпредприятий частным собственникам и в будущем отойти от жестких советских рамок трудовых прав, доступности медицинских и образовательных прав и т.д.

Смешение национального и неолиберального понимания государства усложнялось еще и советско-ностальгическими элементами. И в позднем СССР, и после его распада в людях сохранялась вера в то, что государство должно быть ответственным за социальную помощь, безопасность, медицину и т.д. Существование этих трех противоречащих друг другу идеологем в постсоветском воображении будет по-гегелевски «снято» в представлении о «национальном государстве». Строительство национальных государств во многом предопре-

делялось этим идеологическим противоречием, хранившим специфику постсоветской⁴³ в следующие тридцать лет.

Итак, посткоммунистический транзит постсоветских обществ начался в *перестройку*, в последовавшей за ней цезурой 1989–1991 годов, а также в комплексе процессов *революции 1991 года*. Это происходило в виде креативно-деструктивного процесса (само)преодоления советского социального мира и связанных с ним практик и представлений. Постсоветский человек возникает как недолговечный и трагичный исторический субъект в процессе самопреодоления. Жизнь позднесоветских людей в процессе структурирования взаимодействия в терминах публичного и приватного, переизобретения свободы, гражданственности, государства, экономики, сексуальности и религии опиралась на общую — советскую — отвергающую предысторию и соотносимый с нею набор верований, ценностей, практик и противоречивых идеологем. Это обеспечило, по всей видимости, общие рамки и ритмы начинающегося *постсоветского транзита*.

Постсоветское рассеяние (1992–1994)

В трехлетие, последовавшее за распадом СССР, новое и раннее политическое воображение столкнулось с грубой волей социальной реальности. Свободы в приватном и публичном было так много, а порядка и безопасности так мало, что революционный порыв затухал и переходил в свою противоположность. Если «чернуха» — особый позднесоветский стиль в кино и литературе⁴⁴ — разрушала советское утопическое воображение,

43 Повторю, что под *постсоветствием* я понимаю радикальный разрыв с советским. То есть такую ситуацию, в которой отказ от советской идеологии, институтов и практик новым политическим сообществом был сопряжен с попытками реализации новых политических и прочих проектов, развитие которых происходило в соответствии с правилом «преследовать — значит следовать». И чем жестче постсоветский политический режим вел антисоветскую политику, тем больше он походил на продолжателя советского дела.

44 Об этом см.: Vorobiyova-Ray K. The Capitalist Elephant in Kremlin: Surges of Chernukha in Post-Soviet Cinema & Television: докторская диссертация. Carleton

то в начале 90-х она же препятствовала реализации неолиберальных и национальных проектов, а также была по легитимности новых политических порядков, порождая симптоматическую *остальгию*, ностальгию по советскости.

Тем не менее республиканские элиты, возглавившие строительство новых государств, приступили к воплощению программы постсоветского транзита: переход от тоталитарного советского общества к новым рыночным демократиям в рамках национальных республик. Большинство из них декларировало — а часть даже пыталась практиковать — приверженность либеральному капитализму и общеевропейскому проекту. Но логика национального суверенитета прежде всего требовала определения границ новых политических образований и подавления любых политических альтернатив в их пределах. Принцип перевода советских административных границ в государственные получил поддержку Запада. С декабря 1991 года по декабрь 1992 года все пятнадцать советских республик признаны независимыми от государств мирсистемного ядра и большинства государств периферии⁴⁵. Это признание обуславливалось согласием на безъядерный статус всех постсоветских государств. Кроме России, за которой сохранялся статус наследника СССР. СНГ в первую очередь было организацией, ответственной за контроль над советским ядерным наследием, а уже затем платформой политического сотрудничества после постсоветского «развода». К 1994 году Беларусь, Казахстан и Украина, на территории которых находилась огромная часть советского ядерного арсенала, обменяли свое согласие быть «безъядерными» на признание границ сво-

University, 2010; Почекцов Г. Трансформации виртуального пространства в процессах влияния // Mediasapiens. 2017. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/transformatsii_virtualnogo_prostranstva_v_protsessakh_vliyaniya.

⁴⁵ См.: Kolsto P. Political Construction Sites: Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States. London, 2018. С. 11 и далее.

их национальных государств⁴⁶. Это согласие оформил печально известный Будапештский меморандум, определивший скорее неформальное влияние на властные элиты постсоветских государств, чем формальное.

В процессе подготовки этого меморандума лидеры новых государств договорились не поддерживать ирредентистские и сепаратистские движения друг друга. Например, уже к концу 1994 года правительство Российской Федерации помогло Украине восстановить контроль над Крымом, где движение за отсоединение от Украины и присоединение к России, возглавляемое «президентом» Юрием Мешковым, имело все шансы захватить власть. Фактически 1994 год стал временем, когда новые сепаратистские движения — то есть попытки региональных элит отсоединиться от уже признанных постсоветских государств и создать свои — утратили поддержку Москвы. Впрочем, к этому моменту уже были образованы непризнанные «государства» Нагорного Карабаха, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики. Все эти государственные образования оказались в ситуации выживания из-за международных санкций и постоянной угрозы возобновления конфликта с «материнскими государствами»⁴⁷. После Будапештского меморандума и до 2008 года их статус не менялся. И с того же 1994 года Российская Федерация сосредоточилась на решении проблем собственной Федерации и собственных сепаратистских движений, прежде всего на Северном Кавказе и на Волге.

Элиты новых постсоветских государств столкнулись с огромным вызовом. Им нужно было национализировать советские военные структуры, органы безопасности и правопорядка, административные институты и финансовые

46 Potter W. C. Nuclear Insecurity in the Post-Soviet States // The Nonproliferation Review. 1994. № 1(3). Стр. 61–65.

47 Minakov M. The World-System and Post-Soviet De Facto States / M. Minakov, G. Sasse, D. Isachenko (eds.) // Post-Soviet Secessionism. Stuttgart, 2021. Стр. 59–88.

учреждения. Параллельно проходила декоммунизация⁴⁸, начавшаяся еще осенью 1991 года: уничтожались или переосмысливались структуры КПСС, КГБ, системы Госплана и Центробанка, а также публичное символическое пространство. Новым государствам необходимо было создать свои нацбанки, органы по управлению новыми экономиками и по сбору налогов. В то же время новые элиты начинали приватизацию госпредприятий. Им же пришлось учиться управлять массовой миграцией населения, перемещающегося по всему постсоветскому пространству из опасных зон в менее опасные. Миллионы беженцев из горячих точек формировали новые — как правило, нижние — социальные страты в районах своей иммиграции. Во многом постсоветский человек как антропокультурный тип возникал из опыта коллективной бездомности и из потребности в своем доме, личном и коллективном. Приватизация квартир и национализация республик лишь отчасти отвечали на этот запрос.

Все постсоветские страны при проведении фундаментальных реформ во всех публичных и приватных секторах поделились на «быстрых и медленных реформаторов»⁴⁹. При этом скорость, глубина и эффективность новопостроенного

48 В последнее десятилетие у термина *декоммунизация* появилось новое значение — установление идеологической монополии, утверждающей свою гегемонию «борьбой с советскими пережитками». В 1990-е годы декоммунизация была комплексом политик, которые прекращали советские потестарные практики и уничтожали (или трансформировали) наиболее опасные пост- totalitarные институты. Впрочем, это сопровождалось и куда более масштабным «ленинопадом», и сменой названий улиц и городов. Однако в те годы декоммунизация вела к увеличению пространства свобод и к идеологическому плюрализму. Дискуссию об этом см.: *Касьянов Г. Украина 1991–2007: очерки новейшей истории*. Киев, 2008; *Arel D. How Ukraine Has Become More Ukrainian // Post-Soviet Affairs*. 2018. № 2–3. Стр. 186–189; *Shparaga O., Minakov M. Ideology and Education in Post-Soviet Countries. Editorial Introduction // Ideology and Politics Journal*. 2019. № 2. Стр. 4–8; *Berekashvili B. Ideological Dialectics of Post-Soviet Nationalism // The Copernicus Journal of Political Studies*. 2021. № 2. Стр. 73–90; *Trochev A. Between Blaming and Naming: Constitutional Review of Bans on Communist Parties in Post-Soviet States // Constitutionalizing Transitional Justice*. London, 2022. Стр. 222–248.

49 *Aslund A. How Capitalism Was Built. С. 17* и далее.

были взаимосвязаны. Там, где политические и экономические реформы шли рука об руку, «социальный шок» цезуры и реформ был сильным, но коротким. В силу этого такие страны, как Польша или Эстония, создали свои политические и экономические системы, а также вышли на заметный уровень их эффективности уже во второй половине 1990-х, не дав группам «рентополучателей» организоваться в олигархии и захватить политическую власть. Были и медленные реформаторы в обеих сферах, которые сумели начавшийся в 1991 году экономический кризис остановить с помощью консервации остатков советской системы и создания ранних постсоветских диктатур, как, например, в Беларуси и Туркменистане. И были те, кто относительно быстро реформировал экономику, но не спешил с политическими изменениями, или наоборот. В обоих последних случаях рентополучатели 1990-х успевали создать эффективные инструменты для захвата приватизированных или оставшихся в госсобственности предприятий и центров публичной власти. Так возникали олигархии Грузии, Казахстана, России и Украины⁵⁰. В случае Украины «социальный шок» был особенно глубоким и длительным, что влияло на стабильность и эффективность властных структур, а также крайне медленный процесс оформления языка самоописания, который позже сведется к устойчивому представлению о «двуих Украинах».

Политическое разнообразие сопровождалось и процессом создания национальных конфессиональных организаций. Православная церковь пережила деление: появились, например, новые православные церкви, оспаривающие каноничность Русской православной церкви в Молдове, Украине и Эстонии или юрисдикцию Грузинской православной церкви в Абхазии. Были возрождены запрещенные в СССР церкви и конфессиональные организации, например, Украинская греко-католическая церковь, целый ряд протестантских

50 См.: The Legacy of the Soviet Union / W. Slater, A. Wilson (eds.). Berlin, 2004; Hale H. E. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge, 2014.

и духовно-христианских течений. Ислам в это время пережил свой ренессанс, приобрел множество толкований и стал практиковаться в рамках очень разных течений. Религия из пространства свободы (свободы вероисповедания) становилась пространством фрагментации и деления, сферой возникновения новых или возрождения досоветских идентичностей и связанных с ними конфликтов. Чтобы предотвратить углубление этих конфликтов, правящие группы новых стран стали подчинять религиозные организации либо с помощью спецслужб (Средняя Азия), либо инкорпорируя религиозных руководителей во властные структуры (Армения, Беларусь, Грузия, Россия), либо устанавливая такие законы, которые бы препятствовали религиозным организациям консолидировать влияние на общество и собственность в руках одной церковной организации (например, в Украине).

Так или иначе, но в большинстве постсоветских государств в первые три года после распада СССР произошла заметная демократизация. Верховная власть была раздроблена вертикально (по оси «центр — местное самоуправление») и горизонтально (на ветви власти с возникновением ряда независимых органов власти, таких как центробанк, центральная избирательная комиссия, омбудсмен или конституционный суд). Возникала ранняя постсоветская бюрократия, стали оформляться официальные и неформальные организации властных элит.

Но в то же время в большинстве стран институт советского президентства, заложенный Михаилом Горбачевым как властный пост вне контроля ЦК КПСС, был принят и развит в структуру, постоянно направленную на консолидацию власти вне конституционных формальных рамок и системы противовесов⁵¹. В постсоветской ситуации президентский институт находился в постоянной борьбе с возникающими из

51 См.: Минаков М., Милованов Т. Опасный пост № 1. В чем изъян постсоветского института президента // Vox Ukraine. 14.06.2016. URL: <https://voxukraine.org/ru/opasnyi-pervyi-post-ru/>.

советских «верховных советов» парламентами. Эта борьба быстро привела к первым постсоветским политическим кризисам. Например, в 1993 году Верховный Совет РСФСР был буквально расстрелян танками по приказу президента Ельцина. В том же 1993-м Украина погрузилась в свой первый глубокий политический кризис, завершившийся внеочередными выборами президента и парламента, приходом к власти президента Леонида Кучмы, группы реформаторов и днепропетровских олигархических кланов.

Транзит должен был менять социально-экономическую советскую систему на новую, неолиберально-рыночную. Это привело к социально-экономическому кризису, выражавшемуся в радикальном обеднении населения всех новых стран, и быстро забылись мечтания *революции 1991 года*. Вместо социально-го и политического прогресса население оказалось свидетелем упадка систем жизнеобеспечения, галопирующей девальвации и отказа правительства выполнять базовые социальные услуги и сдерживать преступность. Если новые властные элиты⁵² действовали и видели, как их действия влияют на постепенное возникновение новых социальных и политических институтов, то «простой народ» погружался все глубже в пучину безнадеги, способствовавшей демодернизации, сначала локальной, а затем и более заметной в целом ряде секторов⁵³. Порыв к социальному прогрессу, ощущавшийся во время *перестройки* и в первые годы создания независимых государств, сменился

52 Стоит заметить, что возникновение властных элит, устойчивых групп, контролирующих центры власти и принимающих решения, влияющие на жизнь подконтрольного населения, было неравномерным и неодинаковым, а от этого зависел и консенсус элит в отношении «природы» новых государств и направления их развития. В государствах Балтии и Южного Кавказа новые властные элиты заявляют о себе уже в 1990 году. В России эти элиты пройдут период борьбы в 1990–1992 гг. В Украине и Молдове властные элиты будут формироваться долго, а их консенсус не раз подрывали массовые движения. В Средней Азии властные элиты и их консенсус будут сформированы в 1990-е годы под руководством бывших «прорабов *перестройки*» и по совместительству молодых автократов.

53 Rabkin Y, Minakov M. Demodernization: A Future in the Past. Stuttgart, 2019.

испугом перед вызовами современности и поиском спасения в практиках межвоенной поры XX века, в идеях XIX века, а то и в архаических традициях.

Национализация и социально-экономические изменения привели к тому, что для сотен тысяч людей не стало места для жизни в новых государствах. Новые государства и их население вынуждены подстраиваться под политические системы и новые идеологии. И по мере этой подстройки выдавливались не- и плохо адаптирующиеся группы. Между 1991 и 2001 годами более трех миллионов человек сменили «республику» проживания на постсоветском пространстве⁵⁴. Для кого-то неприемлемой была локальная война, для кого-то — национальная политика, для кого-то — культурная политика и для всех бегущих — социально-экономическая ситуация. Их боль и их голос по большей части остались не услышаны в постсоветских национальных картинах мира⁵⁵.

Социальное напряжение той поры отчасти купировалось особым постсоветским стоицизмом, понуждавшим людей самим решать свои проблемы, отказываться от несамостоятельности советского человека в пользу вынужденной дерзости постсоветского человека. Постсоветские граждане, несмотря на искусы осталгии и неолиберализма, а также демотивирующую гипертрезвость «чернухи», были активными избирателями; для активных граждан открывались перспективы участия в центральной и местной политике⁵⁶. Многие подались в предприниматели и челночную торговлю⁵⁷. Еще часть людей ушла в криминальный мир, где обломки устоев советского

54 Korobkov A., Zaionchkovskia Zh. The Changes in the Migration Patterns in the Post-Soviet States: The First Decade // Communist and Post-Communist Studies. 2004. № 37(4). Стр. 481–508.

55 Подробнее об этом см.: Denisenko M., Strozza S., Light M. Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR. Cham, 2020.

56 Hutcheson D. S., Korosteleva E. A. Patterns of Participation in Post-Soviet Politics // Comparative European Politics. 2006. № 4(1). Стр. 23–46.

57 Radnitz S. The Color of Money: Privatization, Economic Dispersion, and the Post-Soviet “Revolutions” // Comparative Politics. 2010. № 42(2). Стр. 127–146.

«воровского закона» становились социальными трамплинами для «предпринимателей насилия»⁵⁸. А для других ответом на сложную жизнь стала религия: в эти годы традиционные и новые местные культуры, а также течения, чьи истоки лежали за пределами прежних советских границ, вовлекали в общение с трансцендентным все больше людей, бывших еще несколько лет назад убежденными атеистами⁵⁹. Если антропокультурный тип советского человека маловариативен, то постсоветский человек — тип с огромной вариативностью.

К 1994–1995 годам изменения социальных, культурных и политических ландшафтов протекали все медленнее, импульс *революции 1991 года* затухал, и все значимее стал запрос на безопасность и стабильность. Страны посткоммунистического транзита испытывали затруднения новых политических и социально-экономических систем, тормозящих реализацию чаемых перемен.

Попытки стабилизации (1995–2000)

Вторая половина 90-х — это время стабилизации социально-политических изменений первых двух этапов. Само присутствие свободы превращалось на практике в риторические упражнения, одобряемые все меньшей частью постсоветских сообществ. Вместо изменений и эмоций, связанных с ними, происходила кристаллизация порядка, институциональное оформление достигнутого прежде. Наступила пора не столько освоения результатов распада, как в 1991–1994 годах, сколько закрепления вновь построенного как в интересах властных элит, так и в интересах возникающего «среднего класса»

58 Kupatadze A. Organized Crime, Political Transitions and State Formation in Post-Soviet Eurasia. Berlin, 2012; Galeotti M. Russian and Post-Soviet Organized Crime. London, 2017.

59 См.: Мень А. История религии. М., 1997; Köllner T. Religiosity in Orthodox Christianity: An Anthropological Perspective on Post-Soviet Russia // Religiosity in East and West. Berlin, 2020. Стр. 121–140; Gurchiani K. How Soviet is the Religious Revival in Georgia: Tactics in Everyday Religiosity // Europe-Asia Studies. 2017. № 69(3). Стр. 508–531.

и гражданских наций. Постсоветские народы обрастили конституциями, законами, властными органами, новыми банками, корпорациями и валютами. И все меньше обращались к советскому опыту.

В этот период постсоветские страны разделились по внешне- и внутриполитическим ориентациям. В трех Балтийских республиках был сделан выбор в пользу модели развития, основанной на интеграции в ЕС и НАТО, разрыве связей с другими постсоветскими республиками и относительно устойчивой либеральной демократии, которая при этом институализировала разделение населения на граждан и неграждан (в Латвии и Эстонии). Другие, как, например, Украина, приняли модель внешнеполитической многовекторности и инклюзивности⁶⁰: формально гражданские права получало все население, а во внешних сношениях властные элиты пытались балансировать между своими интересами и интересами Запада и России. Народы Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы с трудом выходили из травматичного опыта войны и этнической розни; их государственное и национальное строительство проходило под влиянием как раз этого опыта. Народы Средней Азии, Азербайджана и Беларусь еще на втором этапе отдали свою свободу и права в руки автократов разного уровня мудрости и токсичности, и теперь тут происходило институциональное оформление несвободных режимов.

Во второй половине 90-х в постсоветских государствах начинают системно оформляться первые автократии. Молодого популиста Александра Лукашенко, выстраивающего свой режим, западные обозреватели ошибочно назвали «последним диктатором Европы». На самом деле его режим был пионером автократического поворота, свидетелями которого мы являемся в наши дни⁶⁰. Во второй половине 90-х автократии установились во всех пяти среднеазиатских странах, в Азербайджане

60 Например, см.: Lührmann A., Lindberg S. I. A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?

и в Беларуси. Правление военных или «гэбистов» в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье предлагало еще один тип автократии. Олигархия с элементами политархии⁶¹ и демократии закреплялась в Грузии, Молдове, России и Украине⁶².

К концу XX века все постсоветские народы существовали в условиях особого постсоветского капитализма, где частное предпринимательство было связано как с собственно экономической деятельностью, так и с захватом советского индустриального наследия, освоением нефте- и газодобычи, других природных ресурсов и приватизацией государственных органов. В России и Украине возникли устойчивые кланы (или «политические приемные семьи»), управлявшие «патрональными пирамидами»⁶² — многоуровневыми неформальными структурами, основанными на персональных непубличных отношениях. Они, по существу, овладели элементами исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, местными властями, подразделениями милиции и боевыми криминальными группами, частными и государственными корпорациями и медиахолдингами. Борьба кланов и пирамид обеспечивала политарию, политическую конкуренцию и пространство свобод для граждан. Но чем дальше, тем меньше *качество* этой свободы способствовало развитию новых государств и экономик.

В это время Россия сфокусировалась на преодолении распада собственной Федерации. Две чеченских войны, волна терактов, не прекращавшиеся криминальные войны в провинции и медийные войны в Москве нашли свое отражение в социуме, возвращая легитимность коммунистам (или представителям

61 См.: Shevtsova L. Ten Years After the Soviet Breakup: Russia's Hybrid Regime // *Journal of Democracy*. 2001. № 4. Стр. 65–70; Fisun O. Developing Democracy or Competitive Neopatrimonialism? The Political Regime of Ukraine in Comparative Perspective // *Institution Building and Policy Making in Ukraine*. New York, 2003; Hale H. E. Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia // *World Politics*. 2005. № 1. Стр. 133–165.

62 См.: Hale H. E. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge, 2014. С. 13 и далее.

спецслужб). В 1996 году в результате выборов лидер коммунистов Зюганов едва не стал президентом России. При этом постсоветский коммунизм превратился в новый идеологический феномен, партия и ее сторонники смешивали воедино элементы ленинизма, сталинизма, национал-социализма, социального консерватизма, клерикализма и этнонационализма⁶³. И российская, и украинская, и многие другие постсоветские компартии были радикальными, но не были левыми партиями; их скорее можно отнести к право-левым социал-консервативным радикалам. Впрочем, радикализм коммунистов (как и большинства других радикальных движений) был ограничен коррумпированностью их лидеров и интересами спонсоров. В целом большинство партий становилось предприятиями по получению депутатских мандатов и министерских кресел в интересах спонсоров. Постсоветский капитализм все еще плохо кормил население и срывался в доселе неведомые экономические кризисы (как в 1998 году), но уже научился использовать энергию социального протesta в своих интересах.

Стабилизационный порыв этого периода тем не менее не мешал началу расцвета наук, искусств и литературы. Перестроечные свободы, политическая креативность 1991 года, опыт и травмы радикальных изменений и хаоса начала 90-х дали свои плоды. В это время, например, русская и украинская литература заявили о себе как о состоявшихся новых феноменах. Если в начале 90-х отрезвление воплощалось в виде своеобразной антиутопической критики, как, например, в «Омоне Ра» Виктора Пелевина или «Московиаде» Юрия Андруховича, то эти же писатели к концу последнего десятилетия XX века создали работы, сфокусированные на новой реальности и новых попытках утопического воображения. В частности, в романе «Generation “П”» Пелевина и в «Перверзіях» Андруховича, в художественно-документальном цикле Светланы Алексиевич «Голоса Утопии», начавшемся «Цинковыми мальчиками»

(1989 г.) и завершившемся «Временем секонд хэнд» (проект начал в 90-х, опубликован в 2013 году).

Социальные науки перешли от наверстывания идей и концепций, которые были «пропущены» из-за самоизоляции советской науки в 1930–1980 годы, к исследованиям и дискуссиям о своих обществах и своем времени. *Перестройка* вернула ученым возможность прочесть некогда запрещенную литературу. В 1988–1995 годах все еще читающие постсоветские общества «проглатывали» пропущенное за семьдесят лет в гуманитаристике и социальных науках. При этом социальные и гуманитарные дисциплины экстенсивно развивались, распространяясь по старым и новым университетам и академическим сообществам. Но во второй половине девяностых начинаются два других процесса: сворачивание фундаментальной науки (как, собственно, и индустриального развития) и качественное изменение социальных наук. Первый процесс разрушал или сокращал естественно-научные школы, подрывая и основания научного секулярного мировоззрения, и фундамент собственно индустриальной модерности в новообразованных социумах. Второй процесс был амбивалентен. С одной стороны, общественные и гуманитарные ученые обрели свободу в изучении новых обществ, экономик и государств. Но в то же время новые властные элиты получали кандидатские и докторские «корочки», вытесняя ученых с ключевых позиций академиков, ректоров и профессоров, тогда как количество университетов росло как на дрожжах. С другой стороны, в это время выходят исследования такого качества, как «Общество в вооруженном конфликте», «Социальное безумие» или «Рынки власти»⁶⁴, а с другой — к массовому производству диссертаций приступают фирмы по «защитам под ключ» и все более популярными становятся анти- или паранаучные школы («гумилевцы», «фоменковцы», «этногенетики» и т. п.).

64 Тишков В. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). М., 2001; Головаха Е., Панина Н. Социальное безумие: история, теория и современная практика. Киев, 1994; Кордонский С. Рынки власти. М., 2000.

На этом фоне о себе стали заявлять и сообщества художников. Современное искусство вышло из подполья в новые галереи, структурирующие и творческий процесс, и его экономическую основу. Художники и группы уходили от переживания советского опыта и цензуры 1989–1991 годов, все больше внимания уделяя современникам и современности. Одновременно и у современников стал формироваться интерес к актуальному искусству, что несколько оживляло повседневность, окучиваемую преимущественно массовой культурой в «пиратских копиях».

В тот же период СМИ и сообщество журналистов достигли своего рода зрелости, отойдя от революционного романтизма *перестройки* и ранних 90-х и приняв денежную ориентацию и цинизм за основу профессии. Олигархизация СМИ, «джинса» и медийные войны стали формировать общественное мнение едва ли не больше, чем ответственная журналистика, порожденная гласностью. В это время массмедиа начали свой путь по созданию альтернативной симуляковой реальности в постсоветских странах.

Постсоветская эпоха осознала себя и стала выражать себя в искусстве, медиа и социальных науках. Благодаря этим манифестациям стало видно, что конец XX века постсоветские народы встретили, будучи населением мир-системной периферии с ее бедностью и бесперспективностью, но и с возможностью создавать уютные мирки потребления и успеха либо культурного сопротивления в форме непризнания копирайта и сквотов современного искусства. Своего рода лозунгами того времени были: «Лишь бы не было вновь войны. Лишь бы начался экономический рост. Лишь бы криминалитет оставался в социальных гетто, за пределами центральных улиц». Если «лихие 90-е» начались великими мечтами, трагедиями и революционными актами, то завершилось десятилетие мещанским минимализмом и желанием постсоветского человека обменять свободу на покой. Если XX век в нашей части мира начинался многомер-

ными революциями, то в конце века в Восточной Европе и Северной Евразии бал правили филисты и мещане.

Новый век, новая среда (2001–2008)

В XXI век постсоветские народы вошли с попытками оценить опыт первого десятилетия своей свободы. После первой декады постсоветского рассеяния оказалось, что в большинстве случаев надежды *революции 1991 года* на свободу и благополучие не сбылись. В новое столетие новые общества вошли с несвободными (авторитарными или гибридными «полицейскими») режимами, с экономикой неравенства (экономический рост был, но по большей части касался нескольких семей) и с малым, все хуже выполняющим свой функциональный минимум государством.

Оказалось, что постсоветские властные элиты не способны ни к служению обществу, ни к публично-административной функциональности. Среднеазиатские молодые члены горбачевской команды переквалифицировались в зрелых автократов, пытающихся основать свои династии. «Секретари ЦК» в Азербайджане, Грузии и России быстро старели, теряли сверхнужную для хаотичной постсоветской политики жизненную энергию и готовились к передаче власти — кто-то детям, а кто-то младшим представителям своих «политических семей». В Украине «парторг-космонавт» Кучма входил во вкус правления и принимался за создание собственного клана, пытаясь повторить успех белорусского соседа. Политические реалии не устраивали ни националистов, ни демократов, ни коммунистов, ни олигархов.

Ответов на это недовольство было несколько. Один из них выражен в авторитарном усилении правительства, способных подавить голоса недовольных. Однако решить проблемы, порождающие недовольство, они были не способны. Среднеазиатские и азербайджанский режимы активно меняли под себя конституции, политические, правовые и избирательные системы. Здесь социальный контракт отрицался в принципе:

элиты выстраивали четкую властную вертикаль с жесткой системой социального управления — от нового тоталитаризма в Туркменистане до мудроотеческого единовластия елбасы* в Казахстане.

В Москве элиты инвестировали в просвещенного авторократа — макиавеллевского принца, способного вернуть бунтующие провинции в Федерацию, покончить с терроризмом, сделать страну управляемой и начать возвращение России в центр мир-системы. Первый путинский «общественный договор» оформил отказ россиян от политических свобод в пользу безопасности и увеличения дохода домохозяйств⁶⁵. Олигархи путинского призыва подчинили ельцинских и вместе вошли в единую пирамиду, состоящую из формальных и неформальных институтов «от Кремля до самых до окраин». Автократический выбор был четким, понятным и результативным с точки зрения модели управления.

Но в Грузии, Украине и Киргизстане попытки управляемой передачи власти внутри правящих групп были сорваны массовыми протестами граждан, поддержанными Западом. К 2003–2005 годам, когда по постсоветскому региону пронеслась буря цветных революций, коллективный Запад уже интегрировал три Балтийских республики и готовился сдерживать Россию, усиливая свое присутствие в Восточной Европе и на Южном Кавказе. Волю новых российских элит вернуть себе значение «великой державы» на Западе не приветствовали. Равно как и большинство постсоветских обществ. К этому моменту в Украине и Грузии гражданские организации приобрели солидный социально-политический вес и требовали возвращения к программе демократизации и европеизации 1991 года, а также отказа от постсоветского новоприобретения — олигархического правления. В Киргизстане одновременно усиливались трайбализм* и новые гражданские движения, в то время

65 Модель этого контракта стала примером для политических элит многих других стран региона.

как государственные институты (как, впрочем, и в Украине, и в Грузии) существовали с минимальной эффективностью. Возникла ситуация, в которой гражданские протестные движения и западные правительства сошлись в интересах и усиливали давление на власти слабых государств, а коррумпированные постсоветские элиты теряли поддержку в обществе, так и не создав эффективные госинституты, в том числе институты для защиты себя от граждан. Это вынудило Эдуарда Шеварднадзе, Леонида Кучму и Аскара Акаева уступить протестующим и передать правление соответственно Михаилу Саакашвили, Виктору Ющенко и Курманбеку Бакиеву. Новые правители обещали выполнить программу политических реформ, сформировавшуюся по большей части еще в 1991 году, — установить действенную либеральную демократию, нормативно и институционально сблизиться с Западом, провести справедливую приватизацию и отделить бизнес от власти. И все это с учетом новых политических и социально-экономических реалий.

Увы, обещания революционеров быстро забыли. Уже к 2007 году правление Саакашвили потеряло либерально-демократические черты⁶⁶. Виктор Ющенко умножал и уважал свободы граждан до конца своего правления, но при нем украинская многопирамидальная олигархия и связанная с ней коррупция достигли небывалого расцвета⁶⁷. А правительство Бакиева быстро утратило контроль за ситуацией в стране, погрязшей в межклановых конфликтах. Лишь элиты Молдовы сумели либерализировать политический режим до того, как протесты достигли уровня цветной революции, обеспечив большую устойчивость своей республики.

66 См.: *Ditrych O. Georgia: A State of Flux // Journal of International Relations and Development.* 2010. № 13. Стр. 3–25; *Kavadze A. The Contemporary Authoritarianism in the Post-Soviet Space (Case Study of Belarus and Georgia under Saakashvili Rule) // Journal of Social Sciences.* 2018. № 2. Стр. 7–20.

67 См.: *Kubicek P. Problems of Post-Post-Communism: Ukraine After the Orange Revolution // Democratization.* 2009. № 2. Стр. 323–343; *Huss O. How Corruption and Anti-Corruption Policies Sustain Hybrid Regimes.* London, 2020.

Если в революционных странах ситуация с гражданскими правами и политическими свободами пусть ненадолго, но улучшилась, то в соседних странах утрата свобод только ускорилась. Опасаясь, что Украина и Грузия станут «рассадниками западного либерализма», правящие элиты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана стали совершенствовать свои автократии, создавая институты, способные предупреждать и эффективно подавлять и гражданские восстания, и неполитизированную конструктивную работу гражданских организаций. В 2004–2007 годах контрреволюционная реакция стала мейнстримом в большинстве постсоветских стран и повлияла на развитие всех без исключения политических систем региона, в том числе и на эволюцию систем революционных стран.

В начале XXI века политическая динамика революционных и контрреволюционных стран Восточной Европы и Северной Евразии продемонстрировала, что постсоветские страны остаются единой «экологической системой». Радикальные изменения в одних вели к неизбежной реакции в других. Заметим также, что цветные революции и реакция на них соседних правительств увеличили противоречия не только между национальными элитами соседних стран, но и между народами региона. Если ранняя постсоветская демократизация была свернута властными элитами и становилась все менее значимой для развития постсоветских народов, то национализацию и соответствующую ей политику идентичности углубляли все властные элиты, она все больше управляла социальным воображением населения и правящих групп и их международной политикой. При этом и в революционных, и в реакционных странах национализация вела к фокусированию обществ на коллективной памяти, основанной на конфликтах и претензиях друг к другу. В силу этого противоречия между правящими группами преимущество получали те партии, которые предлагали «консервативное единство». Растущая поддержка консерваторов сопровождалась и поддержкой их идеи — кон-

фликты с соседями исторически оправданы. Позже это приобретет характер желанного будущего.

В это время постсоветские авторитарные, демократы и олигархи в равной мере заучили важный урок: править массами гораздо легче, если они приняли национал-консервативное воображенное за основу политической идентичности. К 2008 году межнациональные противоречия в постсоветском пространстве достигли уровня, позволившего элитам начать войны, сначала торговые, а затем и настоящие вооруженные конфликты. Принимая во внимание стратегии безопасности, сформулированные и утвержденные в этот период, в каждой постсоветской стране стали готовиться к конфликтам с соседями.

Эта конфликтность позволила национальным элитам как классу усилить свой контроль за центрами власти в каждой из стран. Ротация властных элит происходила внутри политического класса, не допуская контрэлиты или альтернативные гражданские группы к управлению. В части стран чем глубже было социально-экономическое неравенство, тем больше внимания уделялось преступному советскому прошлому и соучастию в нем иноэтнических элементов. В других же спешали криминализировать революционный порыв начала 90-х, сведя его к крайне негативному взгляду на «лихие девяностые». Вера в «опасное прошлое» — то, что в моральном плане разрушило советскую идентичность, — снова была затребована в политической повестке дня большинства постсоветских стран. В одинаковой мере революционные и контрреволюционные государства создавали идеологические институты по управлению коллективной памятью (и беспамятством), усиливали конфликтно-патриотическое содержание в общеобразовательной системе, тем самым постепенно возвращая условия в пользу идеологической монополии правительства и преобразования внутренних социальных противоречий в национальные и международные конфликты.

Созданные к началу XXI века политические и социально-экономические системы продуцировали конфликты не только

между соседними странами, но и внутри своих обществ. Эти конфликты выдавливали миллионы людей, которые, в отличие от мигрантов начала 1990-х, считали новые государства «своими»; просто они якобы не находили «места в жизни своих обществ», предпочитая найти свою экономическую нишу в других странах⁶⁸. Это направление постсоветского кочевья привело к тому, что в первые декады нового столетия восточноевропейские постсоветские народы потеряли в сравнении с 1990 годом от 10 до 20 процентов своего населения (в том числе и по причине экономической миграции), а среднеазиатские народы, хотя их население и увеличивалось, выталкивали миллионы своей молодежи в Россию, Китай и на Запад⁶⁹.

Конфликтный период (2008 и далее)

Завершающий период постсоветской эпохи связан с возрастающей тенденцией к региональной энтропии.

В 2008 году постсоветская конфликтность разразилась в кровавой российско-грузинской войне. Попытка Саакашвили вернуть себе популярность посредством завоевания отколовшегося южноосетинского региона дала повод России задействовать свой давно подготовленный план, завершившийся поражением грузинских вооруженных сил, установлением новых границ между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, а также частичным признанием независимости отколовшихся

68 Об этом см.: *Bartram D. Happiness and “Economic Migration”: A Comparison of Eastern European Migrants and Stayers // Migration Studies.* 2013. № 1(2). Стр. 156–175.

69 См., например: *Labanauskas L. Highly Skilled Migration from Lithuania: A Critical Overview of the Period 1990–2018 // İstanbul University Journal of Sociology.* 2019. № 2. Стр. 229–248; *Libanova E. External Labor Migration of Ukrainians: Scale, Causes, Consequences // Демографія та соціальна економіка.* 2018. № 2. Стр. 11–26; *Dickey H., Drinkwater S., Shubin S. Labour Market and Social Integration of Eastern European Migrants in Scotland and Portugal // Environment and Planning A: Economy and Space.* 2018. № 6. Стр. 1250–1268; *Laruelle M. Central Asian Labor Migrants in Russia: The “Diasporization” of the Central Asian States? // China & Eurasia Forum Quarterly.* 2007. № 5(3). Стр. 2–4; *Marat E. Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economic Crisis.* Washington, 2009.

грузинских регионов. Война продемонстрировала, что Москва вернула под контроль свои бунтующие северокавказские регионы и закрепилась на Кавказе, а правительства Запада не готовы к прямому военному столкновению с Россией, открыто выступая на стороне постсоветских стран.

Также война показала себя если не желанной, то приемлемой для обществ. В России прокатилась патриотическая волна, в пene которой «плавали» обруганные, а где-то и побитые грузинские мигранты. А в Грузии укрепилось нежелание знать культуру и язык северных соседей. И оба процесса легитимировал авторитет правителей вне зависимости от успешности их военных авантюр. Кроме того, российско-грузинская война показала особую эмоциональную вовлеченность остальных постсоветских народов в конфликт, тем самым удостоверяя их историческую общность.

Российско-грузинская война положила начало новой модели постсоветского конфликта. Сфокусированные военные действия малой или средней интенсивности в этой модели были лишь частью «активных мероприятий». Одновременно с ней ускорилось государственное строительство новых государственных образований — т. н. *de facto* государств — на территориях постсоветских республик. Это создало системные предпосылки для постоянного внутриполитического и экономического ослабления «материнских государств» (Грузии и Молдовы, а потом с 2014 года и Украины), а также непреодолимые препятствия для вступления в ЕС или НАТО. Наличие неподконтрольных региональных сообществ, претендующих на государственность или переход в другое государство, в «материнских государствах» также искажало логику гражданской мирной политики. «Подорванный суверенитет» придавал легитимность радикальным националистам и политикам, воспроизводящим и институализирующими внутренние конфликты по признакам этноса, языка или религии. Фактически в 2015 году из шести стран региона «Восточного партнерства»

лишь одна полностью сохраняла суверенитет над своей международно признанной территорией — Беларусь.

Модель войны и сопутствующих социально-политических конфликтов, апробированная в 2008 году на Грузии, нашла свое применение в Украине в 2014 году. В результате победы Евромайдана, глубочайшего социально-политического кризиса зимы 2013–2014 годов украинская политическая система временно погрузилась в состояние шока. Этим воспользовались элиты России, аннексировав Крым и поддержав сепаратистов и ирредентистов, выросших из антимайданного движения в Украине. В апреле — июле 2014-го новому украинскому правительству и промайданным группам удалось преодолеть четыре из шести попыток сепарации в юго-восточных областях. Где мирно, а где в жестоком кровавом противостоянии, как в Одессе. Но на Донбассе две попытки частично удались: там возникло два военно-политических образования, не подчиняющихся Киеву и поддерживаемых Россией. В августе 2014 — марте 2015 года война за Донбасс достигла своего пика, приведя к прямому столкновению армий России и Украины, гибели более четырнадцати тысяч человек воюющих сторон и волне беженцев во внутренние регионы Украины, а также в Россию, Беларусь и страны ЕС. В 2015–2021 годах Украина оказалась в той же ситуации, что и Азербайджан, Грузия и Молдова: военный конфликт укоренился на ее территории, пребывая в диапазоне от замороженного до «горячего» состояния, а отковавшиеся территориальные сообщества, претендующие на государственность, стали факторами долговременного сдерживания политического и экономического развития страны, а также участия в международных союзах.

Постсоветская политическая «экология» к 2022 году становилась все более сложной и конфликтогенной. Все постсоветское пространство оказалось поделено на несколько частей. Три республики стали членами ЕС и НАТО, вступая во все более глубокий антагонизм с Россией, которая в свою очередь становилась все менее свободной и все более изолированной

и милитаризированной. Среднеазиатские государства приняли статус «тройной периферии», в стратегиях своего развития принимая во внимание интересы России, Китая и Запада. Азербайджан и Грузия в интересах своей суверенности и развития также восприняли модель «тройной периферии», используя противоречия России, Турции и Запада. Армения, вернувшаяся к демократизации в 2018 году и разбитая Азербайджаном в карабахской войне 2020 года, пыталась найти возможности для выживания — собственного и остатков карабахского анклава. Молдова развивалась в условиях сильного влияния Румынии, ЕС и России. А Украина, вплоть до февраля 2022 года будучи в состоянии необъявленной войны с Россией, выбирала между моделями «буферной зоны» при противостоянии Запада с Россией или «форпоста» НАТО на востоке Европы.

До нападения на Украину в феврале 2022 года Россия отчасти преуспела в возвращении себе статуса региональной «сверхдержавы», напрягая свои скромные экономические и демографические ресурсы не для собственного развития, а для влияния на соседние народы. Войны с соседями и противостояние с Западом дорого обходились гражданам Российской Федерации и усиливали кольцо вражды вокруг нее.

Постсоветскую среду осложняло наличие растущей сети непризнанных государств. Если в 2007 году в четырех непризнанных государствах (Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье) жило около миллиона человек, то к концу 2021 года, даже после сокращения территории и населения Нагорного Карабаха, таких государственных образований было шесть (к ним добавились народные республики в Луганске и Донецке), а их население превышало четыре миллиона человек. Население этих территорий жило в условиях «экстремальной периферии», то есть с минимумом влияния на международные отношения, но под системными санctionями «материнских государств» и Запада⁷⁰. Фактически в регионе,

который, с точки зрения западных европейцев, назывался «Восточное партнерство», существовали шесть признанных государств и шесть непризнанных государственных образований. В этом регионе лишь правительство Беларуси полностью контролировало свои территории.

Эта растущая внешнеполитическая сложность постсоветского ландшафта была сбалансирована «упрощением» внутриполитических процессов. Все признанные и непризнанные политические образования постсоветского пространства (кроме ДНР и ЛНР) можно рассматривать как продукт «третьей волны демократизации»⁷¹. Постсоветское рассеяние началось из-за того, что СССР не смог адаптироваться к требованиям больших политических и экономических свобод своих граждан и народов, справляясь с нарастающими социальными противоречиями, с травматической, незалеченной памятью, не соответствовал интересам новых властных элит. Национальные государственные проекты выиграли конкуренцию с Советским Союзом и в начале 1990-х сделали шаг к институализации желанных свобод и самостоятельности. К началу XXI века эта волна демократизации склынула во всем мире, а в постсоветском регионе ее откат стал очевиден уже во второй половине 90-х. Вместо этого постепенно стала нарастать «третья волна автократизации».

Эти «волны» — довольно сильное обобщение. Его оправдывает лишь то, что в нем обнаруживается нечто крайне важное для транснационального характера политического развития. Национальное воображаемое влияет на оптику нашего рассмотрения, принуждая рассматривать политические и социальные процессы в рамках государств. Однако некоторые политические феномены, в том числе и «волны» увеличения или уменьшения свобод, указывают на существование чего-то

States in the World-System // Ideology and Politics Journal. 2019. № 12. Стр. 39–72.

⁷¹ Донецкая и Луганская народные республики — это уже продукты «третьей волны автократизации», в которой постсоветский опыт получает новое, не постсоветское качество.

транснационального, влияющего на результаты политического действия без всякого внимания к национальным различиям и государственным границам. Как концепция «третья волна демократизации» описывает то обстоятельство, что между серединой 1970-х и началом 2000-х годов сумма действий международных, национальных и локальных политических акторов вела к расширению политических, гражданских и экономических свобод. Эти свободы поддерживались новыми государственными, социальными и экономическими институтами, а также ценностными ориентациями индивидов, малых и больших групп⁷². Пока еще с меньшей, но, увы, быстрорастущей эмпирической основой концепция «третьей волны автократизации» отчасти описывает и отчасти прогнозирует, что сумма действий политических акторов с разными, противоречащими друг другу интересами ведет к свертыванию пространства свободных принципов и действий и к укреплению автократических институтов. Если ранее политическое творчество людей выражалось в обращении к началам, поддерживающим гражданские свободы, права человека и либеральный космополитизм, то теперь это творчество работает на подчинение начальникам, на получение исключительных прав консервативно-воображаемыми группами (исторические субъекты с этническими, этнолингвистическими, национальными или конфессиональными признаками) и на государственный суверенизм⁷³. Именно это, как мне кажется, объясняет и крайне скромный демократический эффект от победы Евромайдана (2013–2014), и поражение массовых протестов в Беларуси (2020–2021), и победу авторитарного Азербайджана над демократизирующейся Арменией (2020–2023).

72 См.: Huntington S. P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, 1993; Inglehart R., Welzel C. *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge, 2005.

73 Minakov M. The Sovereignist Turn: Sovereignty as a Contested Concept Again // *The Ideology and Politics Journal*. 2021. № 1(17). Стр. 87–114.

Нарастающая автократическая тенденция в России, Беларуси, Азербайджане и других странах региона стала уничищожать не только постсоветские достижения во внутренней политике, но и основы существования самих этих государственных образований. Переведя войну с Украиной на новый уровень агрессии в феврале 2022 года, путинская Россия довела транс- и внутринациональные противоречия в постсоветском регионе до такого уровня, когда возник реальный шанс исчезновения всей политической экосистемы в Восточной Европе и Северной Евразии. Нападение на Украину запустило новую цезуру, в глубинах которой нашли свое завершение постсоветская эпоха, постсоветский человек и постсоветские общества. Новая эпоха еще не началась, но, как уже говорилось выше, она уже структурирует политические и социальные процессы вне связи с советским опытом и его преодолением.

Литература и кино этого периода между 2008 и 2022 годами демонстрировали две тенденции. С одной стороны, массовое искусство усиливало этнонациональные стереотипы и рознь, внедряя в сознание народов новые государственные идеологии, указывающие на новых «врагов народа» (или «национал-предателей») внутри и вовне⁷⁴. И в то же время симптоматично росло количество антиутопий. Тут, пожалуй, показательны популярные фильмы — «Generation “П”» (В. Гинзбург, 2011, по роману В. Пелевина), «Трудно быть богом» (А. Герман, 2013, по роману братьев Стругацких) и «Петровы в гриппе» (К. Серебренников, 2021, по роману А. Сальникова). Как и романы Виктора Пелевина S.N.U.F.F. (2011), Сергея Жадана «Интернат» (2017) и Владимира Сорокина «Доктор Гарин» (2021). К концу постсоветской эпохи политическое воображение вошло в фазу двухтактности, колебания происходили от офи-

74

О повороте в российском кинематографе, например, см.: Isaev E. The Militarization of the Past in Russian Popular Historical Films / A. Etkind, M. Minakov (eds.) // Ideology After Union. Stuttgart, 2020. Стр. 237–250; Shlikhar T. Between History and Memory: Cultural War in Contemporary Russian and Ukrainian Cinema. Diss. University of Pittsburgh, 2020.

циозного бездарного патриотизма «попаданцев» к безнадеге пораженцев-либералов, и обратно.

Гораздо больше шансов услышать голоса постсоветской социальной реальности давало современное визуальное искусство. Революционизация визуального искусства позволяла транслировать опыт жертв войны, неравенства и несвободы как авторитарных, так и поликархических режимов, отстаивая последние рубежи истончающегося пространства политической свободы и достоинства гражданина⁷⁵. Впрочем, и тут было все больше «рынка» и «официального патриотизма», что вело к выхолащиванию и этой сферы самовыражения и свободы.

Начавшийся в 2008 году период конфликтов углублял и ускорял социальную энтропию до тех пор, пока она не запустила новую цензуру с непредсказуемыми последствиями и для постсоветских народов, и для их соседей в Европе и Азии. И этот период завершил постсоветскую эпоху — среду обитания постсоветского человека.

Предварительные итоги эпохи

Итак, суммируя рассмотренное, в 2022 году к завершению постсоветской эпохи общества Восточной Европы и Северной Евразии пришли в следующем виде. Большинство населения региона жило в авторитарских государствах, где пространство экономических свобод было больше, чем в СССР 1990 года, а политических свобод, равенства и доступности к базовой социальной безопасности — пожалуй, меньше. А те страны, где оставалось место свободе, находились в системном и экзистенциальном конфликте с соседями-авторитарами и нуждались во внешней защите. Постсоветская среда все требовала внешнего вмешательства для поддержания своего существования.

75 Об украинском и российском современном искусстве см.: Barshynova O., Martynyuk O. Ukrainian Art of the Independence Era: Transitions and Aspirations / M. Minakov, G. Kasianov, M. Rojansky (eds.) // From “the Ukraine” to Ukraine: A Contemporary History. Stuttgart. Стр. 134–167; Jonson L. Art and Protest in Putin’s Russia. London, 2015.

Идеалы гражданственности, либеральной демократии и верховенства права потеряли влияние на политическую и юридическую практики. Им оставалось все меньше места и в демократиях Латвии, Литвы и Эстонии, совсем мало пространства в гибридных системах Армении, Грузии, Киргизстана и Молдовы, и им совсем не было места в авторитариях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана (а также в шести непризнанных государственно-политических образованиях). А Украина, на землях которой Российская Федерация развернула несправедливую и неспровоцированную войну, переживает один из худших моментов своей современной истории.

В европейских постсоветских странах, раскинувшихся между Таллином и Ереваном, стало жить порядком меньше людей, чем в 1991 году. Тут демографические потери за три декады дошли местами до четверти населения. В Средней Азии, наоборот, население выросло — от 10 до 60 процентов, но ни общества, ни экономики региона в этой молодежи не нуждаются, обрекая большую ее часть на миграцию за рубеж, например, в Россию (что и обеспечивает более медленную ее депопуляцию, чем в Восточной Европе) и в другие страны. Восстание в Казахстане и протесты в узбекском Каракалпакстане в 2022 году показали, что в Средней Азии образовался огромный революционный потенциал, креативно-разрушительную силу которого все менее способны сдерживать авторитары.

Уменьшившееся постсоветское население имело гораздо большие возможности для потребления и саморазвития, если это не мешало правящим группам и официальной идеологии. Но доходы этого населения увеличились неравномерно: авторитарии Азербайджана, Беларуси и России были сравнительно выгоднее своему населению, чем гибридные режимы Армении, Грузии, Молдовы и Украины. В 2020 году ВВП двух последних стран едва ли достигал их же показателей 1990 года. Впрочем, война 2022 года запустила такие деструктивные механизмы, которые способны уничтожить экономические основы потреб-

бительского капитализма в регионе. Похоже, что постсоветские народы уже пережили свои лучшие времена — по крайней мере, в полуторасталетней исторической перспективе — в первую декаду XXI века, а ближайшее будущее несет угрозы бедности, восстаний и войн.

В отличие от масс, в прошедшее тридцатилетие люди свободных искусств получили несколько десятилетий свободы творчества. Если чем постсоветская пора себя и оправдала, так это прорывом в искусстве и надеждами в литературе. Эпоха, погибшая в российско-украинской войне, имела свои голоса и образы, и в будущем память о ней будет яркой и пронзительной лишь благодаря им.

Постсоветский рывок к индивидуальной и национально-демократической эманципации, к либерально-демократическому прогрессу был заманчив, почти реален, но недолговечен. Несколько лет демократического творчества сменялись годами авторитарной креативности. В поисках своего уникального национального пути всех пятнадцати с лишним народов импульсу гражданственности постоянно противостояло болезненное внимание к этничности, порыву делового предпринимательства — инстинкт монополизма, магии капитала — архаика богатства, идеалам республики — логика олигархии. Так постсоветская модернизация обращалась вспять, становилась демодернизией.

За тридцать лет постсоветские множества сделали полный оборот. В 1991 году они приняли разнообразие — свое и мира. К 2022 году в этих обществах стало принято обрывать себя на полуслове и полумысли, если они выходили за рамки суверенной идеологии и противоречили официально утвержденному словарю терминов (и предлогов) для описания реальности.

Распространение конфликтного национал-консерватизма в постсоветских обществах сопровождалось уходом в себя для тех, кто не принимал навязчивые идентичности большинства, а большинство все более изолировало себя от мира и *Иного*,

внутреннего и соседнего. Сурковское «геополитическое одиночество России», порошенковское «остаточне прощавай», балтийское «возвращение в Европу» и туркменбашинское «вечное внимание на своем пути» — инстинктивные продукты воображения постутопических обществ, оказавшихся неспособными ни выполнить программу 1991 года, ни признаться себе в слабости своего творческого потенциала. Небытие, поглотившее постсоветскую эпоху, вполне логичный и заслуженный результат. В постсоветском транзите — в новом Моисеевом кочевье восточных европейцев — покинувшим советское рабство не были дарованы ни манна, ни Завет. Несвященная история этой эпохи началась с Содружества (независимых государств) и пришла к состоянию экзистенциального совражества.

Часть третья

Эволюция представлений о постсоветской эпохе

Не то, что есть, вызывает в нас чувство нетерпения и страдания, а то, что оно не такое, каким оно должно быть.

Г. В. Ф. Гегель

Сложно предсказать, куда метнется испугавшийся себя ум.

В. Пелевин

История движется не только в промежутках от цезуры к цезуре, но и в единстве двух планов — событийного и нарративного. В предыдущей части я описал этапы разворачивания событий постсоветской эпохи, в этой части я опишу эволюцию наших представлений о прошедшей эпохе, своего рода концептуальную историю постсоветской транзитологии.

С тех пор как была открыта историчность человеческой ситуации — мол, мы не просто присутствуем тут и теперь, но пребываем на острие перехода грядущего в минувшее, в становлении между прошлым и будущим — образы времени, его течения и его направления стали важнейшим источником вдохновения личной и коллективной жизни современных людей. Например, прогресс и связанные с ним образы оказали огромное влияние на изменение социальной реальности большинства народов в последние три столетия. При этом прогресс видели по-разному: и как нравственное созревание, и как секулярное взросление, и как эволюцию народов или человечества в целом, и как научно-техническое развитие, и как гражданскую эмансиацию, и даже как становление бесклассового гармоничного общества. Видели прогресс и в возникновении социальной реальности мирового «социалистического лагеря», в «бараках» которого входили республики Советского Союза и государства-сателлиты в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. В период между 1917 и 1991 годами образы

коммунистического прогресса являли себя в диапазоне смыслов от «пути к счастливому будущему человечества» до неизывного ГУЛАГа.

Иронично, но распад восточного блока, СССР, «мировой системы социализма» и трансформационный рывок постсоветской эпохи тоже рассматривали в терминах прогресса, в таких понятиях, как «посткоммунистический транзит», «постсоветская трансформация» и «демократизация». Этот прогресс представлялся как переход от несвободного общества, тоталитарной политики и административной экономики к гражданскому обществу, демократическому плюрализму и свободному рынку в мирном европейском регионе (Парижская декларация 1990 года). Отсюда и «постсоветская тетрада», о которой шла речь во вступлении. Начавшийся посткоммунистический транзит (*всеобъемлющая культурная трансформация* — желанный переход к лучшему миру) приветствовали многие и на востоке Европы, и в неевропейской части России, и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии, и за пределами регионов, непосредственно затронутых советским проектом.

Перезапуск прогресса по западному образцу в постсоветских и посткоммунистических обществах связан с вакуумом (гео)политического воображения и дефицитом политических, социальных, экономических и этнокультурных концепций в период с 1989 по 1991 год. Земли, народы, города и деревни все так же существовали на территории между Центральной Европой, Ираном, Китаем и Тихим и Ледовитым океанами, но концепции и представления, произведенные и неразрывно связанные с этим регионом, больше не описывали реальность. Ученым, журналистам, политикам, дипломатам и экспертам, работавшим вне и внутри этого региона, пришлось создавать новые словари для быстро заполняющегося событиями и структурами постсоветского «пространства». Создание новых терминов, образов и концепций происходило вместе со становлением новой реальности, что в некотором смысле было производством нового пророчества. Оно должно было

ответить на три вопроса: «Что ждет постсоветского человека в будущем?», «Чего должно постсоветскому человеку желать?», «Чего следует опасаться постсоветскому человеку при переходе в желанное будущее?».

Ответы на эти вопросы составили специфичную концепцию-пророчество «транзита-перехода» и касались целей и этапов этого движения. За право сформулировать транзитное пророчество стали конкурировать различные академические, политические и идеологические лагери на Западе и Востоке, и ожидали победили концептуальные центры западного ядра. (Хотя, как показали события после 2014 года, победенная Москва не сдавалась и жаждала реванша.) Жажда гегемонии в формировании целей, эмоций и средств постсоветского и — шире — посткоммунистического транзита была едва ли не единственной константой на протяжении последних тридцати лет плохо скрываемого хаоса в политическом видении. Неожиданные повороты в транзите заставляли все конкурирующие партии пересматривать первоначальные прогнозы, поскольку социальная реальность неумолимо отклонялась от ожидаемых фарватеров демократизации и европеизации. Это же, впрочем, происходило и с коммунистическим пророчеством. В начале 1990-х постутопическое состояние требовало утопических учений, чтобы хоть как-то справляться с неясностью постсоветского будущего.

Напряжение между грубой социальной реальностью, научными концепциями, экспертными пророчествами и массовым воображаемым — это источник энергии, питающей процессы и творчества, и разрушения. Как уже говорилось, оба процесса характерны для исторического присутствия и становления человеческой экзистенции в мире. Однако в социально-историческом плане это парадоксальное взаимодействие двух равнонаправленных сил описывает современное культурное состояние, и в нем нет ничего специфически восточноевропейского. Чтобы лучше выразить Марксову идею об особенности развития капитализма, популяризовавший эту концепцию

Йозеф Шумпетер заимствовал у Зомбарта термин *schöpferische Zerstörung* («творческое разрушение»). Им выражалось постоянное возникновение противоречий между старыми, новыми и новейшими производственными силами и отношениями — предпосылками непрекращающегося воспроизведения капитализма, который постоянно нуждается в обновлении, в «вечной буре творческого разрушения»⁷⁶. Хотя Шумпетер использовал эту концепцию в ином историческом и дисциплинарном контексте, ее применимость доказана постсоветской историей. Возвращение капитализма в посткоммунистический вакуум превратило регион в пространство постоянно растущих противоречий между производительными силами, производственными отношениями, экономическими структурами и социально-политическими надстройками.

Начиная с цезуры 1989–1991 годов, в процессе постсоветского творческого разрушения резко изменилось само жизненное пространство восточноевропейских и североевразийских народов. Тони Джадт удачно назвал это изменение пространственного восприятия «переоткрытием» и «картированием» новой реальности после исчезновения советско-коммунистических реалий и соответствующего им воображаемого⁷⁷. В свое время Александр Эткинд и я описали это «переоткрытие» как переход от коллективного воображения, контролируемого монополистическим советским марксизмом, к столкновению множества конкурирующих воображений и воображаемого, распространяющих «индивидуализм, неолиберализм, демократический либерализм, либертарианский анархизм, этнонационализм, религиозный консерватизм и антипрогрессивизм. Они сталкивались между собой, и фрагмен-

⁷⁶ Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. Это также заставляет задуматься о том, насколько совпадают «человеческая природа» и капитализм как таковой. Дискуссия об этом не утихает уже второе столетие. О недавней волне дискуссии на эту тему см.: Wood E. M. The Origin of Capitalism: A Longer View. New York, 2002; Brennan J. Why Not Capitalism? London, 2014.

⁷⁷ Judt T. The Rediscovery of Central Europe // Daedalus. 1990. № 1. Стр. 23–54.

ты их укладывались в основание публичной сферы, слишком долго существовавшей без критического дискурса»⁷⁸. Затем, после первых лет транзита, избыточное разнообразие элементов воображения вызвало социальную усталость и потребность в кристаллизации некоего всеохватывающего и простого воображаемого — потребность, которая в радикальных случаях приводила к «возвратному тоталитаризму»⁷⁹.

Выпадение в периферийное состояние постсоветских (и, шире, посткоммунистических) обществ, бывших прежде частью «альтернативного ядра», привело к тому, что их политическое воображение долго зависело от представлений, сформированных в обществах западного ядра однополярной мирсистемы, сложившейся в начале 90-х годов в результате распада соцлагеря. В этой связи потребность в простом понимании себя и своего места в истории и мире была призвана удовлетворить концепция постсоветского (или посткоммунистического) транзита. В ней сочетались четыре надежды-тенденции:

- 1) увеличение пространства политических свобод (чем, по сути, и была демократизация);
- 2) создание рыночной, свободной от планового администрирования государством экономики (т.е. маркетизация);
- 3) отказ от пролетарского государства в пользу национального государства (иначе говоря, национализация); и
- 4) принятие общих правил и ценностей проекта единой Европы (т.е. европеизация).

В последующие три десятилетия именно эту концептуальную тетраду тестировали постсоветские народы.

Эта проверка соответствия политических процессов и наших о них представлений приводила к разным результатам на трех разных этапах:

⁷⁸ Etkind A., Minakov M. Post-Soviet Ideological Creativity / A. Etkind, M. Minakov (eds.) // Ideology After Union. Stuttgart, 2020. Стр. 9–18. С. 10.

⁷⁹ О «возвратном тоталитаризме» в России, например, см.: Гудков Л. Возвратный тоталитаризм. В 2 т. М., 2022. Т. 1. С. 4–5.

- 1) во время и вскоре после цenzуры 1989–1991 годов и начала транзита;
- 2) затем в первые десять–пятнадцать лет после распада СССР;
- 3) и, наконец, в последнее пятнадцатилетие постсоветской эпохи (что совпадает с последним этапом событийной постсоветской истории).

Проследим в этой части, как концепция постсоветского транзита утратила свой пророческий характер, открылась постсоветской социальной реальности, а затем ушла в прошлое вместе с самой эпохой.

Политическое воображение во время и после цenzуры (1989–1994)

В публичных высказываниях интеллектуалов и политических лидеров периода 1989–1991 годов понятия непредсказуемо смешивались, что соответствовало и событийному хаосу, и хаосу в воображении. В этих высказываниях артикулировалось удивление скоростью и глубиной трансформаций, изменением мира, неожиданным уходом «реального социализма» и «возвращением капитализма»⁸⁰.

Участники и наблюдатели революционных событий в СССР и восточном блоке 1989–1991 годов, как правило, выражали свои переживания двумя взаимосвязанными образами. И западные, и восточные публичные фигуры рассматривали происходящие перемены как окончание раскола между Западом и Востоком. Холодная война закончилась, и теперь уже в Большой Европе, где западный и восточный полюсы слились

80 Наверное, наиболее показательны статьи и рецензии, напечатанные в журнале *East European Politics* с № 4 (1988) до № 10 (1994); в номере 119(1) за 1990 год журнала *Daedalus*; и в первых трех номерах журнала *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, вышедших с 1992 по 1994 г. Соприсутствие исследовательских и полемических текстов ведущих советских, центрально- и западноевропейских и американских историков, философов и политологов позволяет нам сегодня взглянуть на события цenzуры 1989–1991 гг., начало «транзита» глазами людей, переживающих драматический период истории, и сравнить их опыт цenzуры с нашим.

воедино, должна начаться новая эра мира. Экономические, культурные и политические структуры, делавшие возможным существование Берлинской стены, должны были последовать за собственно инженерным сооружением посреди германской столицы. А нормы, институты и практики Западной Европы должны были распространиться на все части континента, от Дублина до Владивостока⁸¹. Это понимание процессов описывали и как «возвращение в Европу» восточных народов, что содержало в себе нормативность и субстанциальность Запада в проекте Европы, консолидацию производства концепций западных ученых и удаление от нее восточноевропейских мыслителей, а также множество национальных и субнациональных специфичных значений, заложенных в этой идеологеме⁸². Творческое разрушение на Востоке включало в себя также деконструкцию норм и институтов, возникших в период между 1922, 1945 и 1988 годами, тем самым возвращая посткоммунистические общества к идеализированному межвоенному прошлому (1920–1930-е), а постсоветские — к проектам 1917–1922 (а иногда и 1941–1943) годов. Или же подталкивая их к неолиберальной политико-экономической модели без учета национальной или субнациональной специфики. Образ континентального единства поначалу скрывал возникающие и углубляющиеся социально-экономические и этнокультурные травмы с далеко идущими последствиями, но он же придавал легитимность политической воле в стремлении осуществить неолиберальные реформы.

Советско-марксистское воображение советского прошлого и коммунистического будущего потерпело крах и было заменено транзитным пророчеством о движении от советского

81 Coppieters B. et al. Europeanization and Conflict Resolution: Case Studies from the European Periphery. Brussels, 2004.

82 Maier C. S. Dissolution: The Crisis of Communism and the End of East Germany. Princeton, 1999. С. 20–22; Verdery K. Transnationalism, Nationalism, Citizenship, and Property: Eastern Europe Since 1989 // American Ethnologist. 1998. № 25(2). Стр. 291–306. С. 293.

прошлого (то есть от авторитарной политики, государственной цензуры, политической полиции и административной экономики) к желанному будущему, которое описывалось в терминах гражданских свобод, либеральной демократии, национального государства, плюралистической политики и свободного рынка. Эту смену Чарльз Фэрбенкс в дискуссии на страницах *Journal of Democracy* описал так:

«По мере коллапса коммунизма демократия и рыночная экономика появляются в виде следующей политической формулы, которую предстоит опробовать»⁸³.

Апробирование этой формулы, о чем позднее писал в своем исследовании транзита Олег Гаврилишин, потребовало множества непростых политических решений в каждой постсоветской стране. Прежде всего, решений о том, с какой скоростью проводить реформы: что выбрать, «шоковую терапию» или «быстрые реформы»? Во-вторых, как именно проводить национализацию государства и приватизацию экономики, создавая новые классы собственников и предпринимателей? В-третьих, какую цену готовы заплатить и на какие потери готовы пойти новые общества ради достижения целей транзита? Наконец, что построить первым — рыночные институты, демократическую политику или правовую систему, основанную на верховенстве права?⁸⁴ Ответы на эти, зачастую метафизические вопросы были неотъемлемой частью воображения, теории и практики всеобъемлющего постсоветского транзита.

Два элемента — европеизация и комплексный переход, сочетающий демократизацию, национализацию и становление рыночной экономики, — неразделимы в понимании и объяснении развития постсоветских народов начала 1990-х годов. Посмотрим же, как их оценивали современники и на какие лагери делились в отношении их.

83 Fairbanks C. H. The Suicide of Soviet Communism // *Journal of Democracy*. 1990. № 1(2). Стр. 18–29. С. 23.

84 Havrylyshyn O. Divergent Paths in Post-Communist Transformation: Capitalism for All or Capitalism for the Few? London, 2006. С. 21–22.

Для левых интеллектуалов — даже умеренных марксистов и постмарксистов — падение восточного блока и СССР стало экзистенциальной проблемой. Например, тревога за судьбу второго мира под руководством СССР была характерна в какой-то степени Иммануилу Валлерстайну и ученым из его окружения⁸⁵. Интеллектуалы, выступавшие на Западе против «реального социализма» и подрывавшие его легитимность слева, в числе которых были Дэниел Белл, Вацлав Гавел, Ральф Дарендорф, Тони Джадт, Лешек Колаковский и Юрген Хабермас, восторженно приветствовали воссоединение Европы, но озабоченно смотрели на переход к демократическому капитализму в деле исправления последствий коммунистических преступлений⁸⁶. С их точки зрения, восток и запад Европы должны создать *общее пространство*, а не *вестернизированное*, регион общих политico-правовых ценностей, норм и институтов под лидерством Совета Европы. Тревогу левых вызывал тот факт, что новый европейский прогресс реализуется как антикоммунистическая реакция, модель же развития принципиально враждебна социализму некоммунистического толка, консервативно ориентирована и не устанавливает каких-либо внятных позитивных целей социального развития.

В то же время цезура 1989–1991 годов предоставляла левым возможность построить Европу социального равенства и справедливости. Они рассматривали распуск восточного блока и СССР как шанс для реформированной социал-демократии, для «продолжения политической коммуникации, препятствующей выходящему из институциональных рамок

85 См., например, второе издание книги: *Wallerstein I. The Politics of the World-Economy: The States, the Movements and the Civilizations*. Cambridge, 1989. С. 90–94.

86 Сошлись тут лишь на несколько работ: *Habermas J. What Does Socialism Mean Today? / R. Blackburn (ed.) // After the Fall: The Failure of Communism and the Future of Socialism*. London, 1991. Р. 25–46; *Judt T. The Dilemmas of Dissidence: The Politics of Opposition in East-Central Europe // East European Politics and Societies*. 1988. № 2. Стр. 185–240; *Kolakowski L. Uncertainties of a Democratic Age // Journal of Democracy*. 1990. № 1. Стр. 47–50.

конституционной демократии»⁸⁷. Чтобы левое видение социально справедливой Европы и трансформации социалистического лагеря победило в конкуренции за будущее, Белл и Дарендорф призывали своих коллег стать лидерами в исправлении последствий коммунизма и мыслить как «ревизионисты», вне марксистских догм⁸⁸.

Если левые интеллектуалы смотрели на посткоммунистическое развитие Востока со смесью надежды и тревоги, то либералы и неолибералы видели в нем лишь великие перспективы для своих проектов. Для них европеизация как таковая была не важна — она была слишком приземленной целью. Вместо этого они искали вдохновения у Эрнандо де Сото⁸⁹, Фрэнисса Фукуямы⁹⁰ или Сэмюэла Хантингтона⁹¹, чьи идеи (несмотря на их дисциплинарный контекст и академическую гипотечность) воспринимались неолиберальными идеологами, политиками и экономистами руководством к планированию и осуществлению транзита — рывком к свободным экономикам, открытым обществам и плуралистическим демократиям⁹². В связи с растущей гегемонией «Вашингтонского консенсуса» либеральные идеи того времени были поспешно воплощены в неолиберальные практики⁹³.

87 Habermas J. What Does Socialism Mean Today? C. 45.

88 Bell D., Dahrendorf R. Wir sollten endlich alle Revisionisten sein // Die Zeit. 29.12.1989. URL: <https://www.zeit.de/1990/01/wir-sollten-endlich-alle-revisionisten-sein/komplettansicht>.

89 Bromley R. A New Path to Development? The Significance and Impact of Hernando De Soto's Ideas on Underdevelopment, Production, and Reproduction // Economic Geography. 1990. № 66(4). Стр. 328–348.

90 Fukuyama F. The End of History? // The National Interest. 1989. № 16. Стр. 3–18.

91 Huntington S. P. Democracy's Third Wave // Journal of Democracy. 1991. № 2. Стр. 12–34.

92 Об этом см.: Vachudova M. A., Snyder T. Are Transitions Transitory? Two Types of Political Change in Eastern Europe Since 1989 // East European Politics and Societies. 1996. № 11(1). Стр. 1–35.

93 Подробности о слиянии внешней политики США, опыта трансформаций Латинской Америки и посткоммунистического транзита см.: Williamson J. Democracy and the “Washington Consensus” // World Development. 1993. № 21(8).

С самого начала неолиберальные экономисты смотрели на постсоветское пространство сквозь призму перехода к капиталистической свободной рыночной экономике и социально-политическим институтам, которые ее поддерживают. Одним из наиболее показательных документов, зафиксировавших ранние представления этого лагеря, был, вероятно, доклад аналитиков Deutsche Bank, в котором оценивались перспективы экономического развития советских республик в 1990 году⁹⁴. Авторы доклада выразили и истинно пророческое видение, и профанную слепоту в отношении к постсоветскому грядущему. С одной стороны, эти аналитики были правы, предвидя скорый распад СССР, чего многие выдающиеся политологи того времени никак не ожидали⁹⁵. С другой стороны, они были уверены, что в долгосрочной перспективе некоторые республики сравняются «с экономическими и культурными стандартами Западной Европы»⁹⁶. Авторы отчета утверждали следующее:

«Шесть из [советских. — М.М.] республик имеют высокий экономический потенциал, пять — умеренный и четыре — слабый»⁹⁷.

Из числа советских республик наилучшие перспективы экономического транзита неолиберальные аналитики усматривали в Украине. Сегодня, тридцать с лишним лет спустя, это кажется трагической ошибкой, но не немецких аналитиков, а украинских лидеров: Украина (наряду с Молдовой) имеет среди постсоветских стран один из самых низких с 1990 года темпов роста ВВП по ППС при лидерстве в сфере политических и гражданских свобод⁹⁸.

Стр. 1329–1336.

94 Corbet J. et al. *The Soviet Union at the Crossroads: Facts and Figures on the Soviet Republics*. Frankfurt/M., 1990.

95 Там же. С. 5.

96 Там же. С. 7.

97 Там же.

98 См.: ВВП по ППС (константа 2010 US\$) в: Ukraine, *World Bank official database*. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?locations=UA>; Free-

Таким образом, в 1989–1991 годах представления о постсоветском будущем выстраивались путем сочетания элементов транзита (внутренне ориентированные экономические и политические процессы) и европеизации (многосторонний транснациональный процесс)⁹⁹. Эти представления тоже носили несколько парадоксальный характер: неолибералы связывали транзит с политэкономией, которая когда-то была сферой гегемонии марксистов, в то время как левые интеллектуалы смотрели на транзит в контексте культурных ценностей, что более характерно для консервативного мировоззрения. Политэкономический проект неолибералов состоял в модернизации экономической базы зарождающихся посткоммунистических стран и надежде, что это приведет к политической демократизации надстройки. В свою очередь, левые инициировали общий европейский диалог в рамках Совета Европы, а затем и ЕС, который постоянно подрывали новые акторы постсоветской поры — националисты, неоимпериалисты, национал-консерваторы и суверенисты.

Несмотря на идеологические разногласия, представители обоих лагерей в планировании постсоветского транзита были уверены в том, что после цезуры наступила новая эра — эра прогресса и великих перспектив для всех новых обществ, постсоветских (от белорусского до туркменского) и посткоммунистических (от болгарского до восточнонемецкого).

dom in the World 2020 // Freedom House official website. June 2020, URL: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy>. Сравнение социально-экономического и политического развития постсоветских европейских республик см.: Minakov M. Shades of Peripheries: A Typology of States in New Eastern Europe / A. Filippov et al. (eds.) // Centres and Peripheries in the Post-Soviet Space. Bern, 2020. Стр. 63–101. С. 87–88.

⁹⁹ Об этом революционном соединении пишут, например, Егор Гайдар и экономисты его команды: Гайдар Е. и др. Экономика переходного периода. М., 1998. С. 10–12, 34 и далее.

Концептуальное отрезвление (1995–2003)

Энтузиазм революционных лет вскоре столкнулся с жестокой реальностью — новой бедностью, межэтническими и международными конфликтами, политической дезорганизацией и другими событиями, не вполне вписывавшимися в первоначальное великолепие ожиданий от транзита. В 1995 году ожидания были еще живы, но опьянение возможностями сменялось похмельем.

Отрезвление началось, собственно, до 1995 года в среде левых интеллектуалов и практиков. Встреча их упований с реальностью хорошо описана в своего рода публичной исповеди Гавела, опубликованной в конце 1992 года:

«Возвращение свободы в пространство, которое было морально ненормальным, привело к тому, что и должно было произойти, и, следовательно, к тому, чего мы должны были ожидать. Но результат оказался намного хуже, чем кто-либо мог предсказать: невероятный и ослепительный взрыв любого мыслимого человеческого порока. Широкий спектр сомнительных или по крайней мере неоднозначных человеческих склонностей, тайно поощрявшихся в течение многих лет и в то же время тайно использовавшихся для повседневного функционирования тоталитарной системы, был внезапно выпущен... из смирительной рубашки и получил полную свободу действий. Авторитарный режим определенным образом упорядочивал эти пороки. Это упорядочивание сейчас разрушено, а новый порядок, который мог бы ограничить такие пороки без их эксплуатации, до сих пор не выстроен»¹⁰⁰.

Постсоветские интеллектуалы социал-демократического направления также обращали внимание на тревожную реальность. Так, Наталия Панина и Евгений Головаха указывали на то, что освобождение от советского тоталитаризма не означало отказа от тоталитаризма как такового:

100 Havel V. Paradise Lost // The New York Review of Books. 1992. № 7. Стр. 6–8. С. 6.

«Путь общества от тоталитарной идеологии к демократии оказался сопряженным с необходимостью пройти через крайне болезненный этап своеобразного неотotalитарного состояния — тотальной безнормности и обесценивания ценностей, которое в публицистической литературе и в массовом сознании получило название, почерпнутое из “лагерной” системой отношений: “беспредел” — экономический, политический, правовой, национально-эгоистический и т.п. А вслед за этим в современном политическом лексиконе все чаще стали появляться термины, более привычные для психиатров, чем политиков, обществоведов и публицистов: политическая истерия и апатия, мания национальной исключительности и ксенофобия, социальная шизофрения и всеобщая депрессия, массовый психоз и безумие народа и т.п.»¹⁰¹.

Несколько лет спустя Дэвид Белл описал результат столкновения изначального видения постсоветского будущего и наступившей реальности транзитных обществ в терминах неожиданного кризиса: «крах коммунизма мы поначалу не рассматривали как кризис социал-демократии»¹⁰², но вместе с исчезновением Советского Союза эта социал-демократия пришла в упадок на Западе и не возникла на Востоке. Иными словами, в ходе постсоветского транзита была установлена гегемония нелевых моделей и концепций — преимущественно неолиберального представления в экономике и националистического в политике, в то время как социал-демократическая альтернатива теряла свое влияние во всех частях новой Европы.

Еще больше исчезновение левой альтернативы и идеала социальной справедливости было заметно в движениях третьего мира, ставшего без Советского Союза Глобальным Югом. Исследования школы Валлерстайна показали, что распад СССР и последовавший за ним транзит довольно быстро изменили доступ к ресурсам современной мир-системы в пользу госу-

¹⁰¹ Головаха Е., Панина Н. Социальное безумие: история, теория и современная практика. Киев, 1994. С. 4.

¹⁰² Bell D.S. Post-Communism in Western Europe // Journal of Communist Studies and Transition Politics. 1996. № 12(2). Стр. 247–252. С. 247.

дарств Запада, который стал Глобальным Севером. При этом большая часть соцлагеря, включая Россию, вопреки ожиданиям 1989–1991 годов, стала частью Юга¹⁰³.

К 2001 году идея единой Большой Европы была реализована в форме членства всех европейских государств в Совете Европы. Со всеми вытекающими из этого членства обязательствами. Набирающий все большие темпы развития Европейский союз расширялся в направлении Центральной Европы и даже постсоветского пространства — на Балтийские страны¹⁰⁴. С формальной точки зрения европеизация была успешной, вовлекая в общее ценностное, правовое и политическое пространство большинство постсоветских народов. Однако с отрезвлением транзитного видения исследователи стран, находящихся в постсоветском транзите, стали гораздо больше внимания уделять эмпирике, а не изначальным концептуальным установкам. Они стали регистрировать проблемы развития и отклонения от ожидаемого направления. Спустя десять–пятнадцать лет после старта перемен постсоветские государства управлялись весьма разными режимами, варьировавшими от откровенной автократии в Беларуси и Азербайджане до вполне либеральной демократии в Эстонии и Латвии. К этому времени Балканы прошли через распад Югославии, травматичные этнические войны и «гуманитарные» операции НАТО. А глобальная дихотомия — Север и Юг — начинала делить Европу по-новому. Российская Федерация (постсоветское ядро), несмотря на ее периферийный мировой статус, запустила свой собственный интеграционный проект, который вскоре

¹⁰³ Arrighi G., Silver B. J., Brewer B. D. Industrial Convergence, Globalization, and the Persistence of the North-South Divide // *Studies in Comparative International Development*. 2003. № 38. Стр. 3–31. С. 4 и далее. Ср. также с: Berend I. Central and Eastern Europe, 1944–1993: Detour from the Periphery to the Periphery. Cambridge, 1996. С. 4 и далее; Bardhan P. K. et al. Globalization and Egalitarian Redistribution. Princeton, 2006. С. 77 и далее.

¹⁰⁴ Coppieters B. et al. Europeanization and Conflict Resolution. С. 17 и далее.

столкнулся с проектами ЕС и НАТО в Восточной Европе и на Южном Кавказе¹⁰⁵.

Влияние идеологической позиции на исследователей транзита снизилось и в левой, и в неолиберальной средах. Исследователи процессов постсоветского развития прошли через свой дисциплинарный транзит. Ричард Саква справедливо отметил:

«Фактический ход трансформации оказался более сложным, чем предполагалось в ранние посткоммунистические времена. Сам процесс реформ породил такие новые явления, которые ставят под сомнение мудрость политических наук и экономики»¹⁰⁶.

Этот самокритичный поворот можно охарактеризовать как постепенный отказ от видения «всеобъемлющего транзита» в пользу критического внимания к реальности тех обществ, где постсоветское развитие шло под лозунгами демократизации и создания рыночной экономики, но институты, поддерживающие гражданские свободы и политические права, не обеспечивали демократического качества ни политической системы, ни политического режима.

Эта тенденция особенно проявляется в изменении тональности, лексики и тематики публикаций в трех «магистральных» для исследования постсоветского перехода журналах того периода — *East European Politics*, *Journal of Democracy* и *Demokratizatsiya*. Анализ их содержания за период с 1995 по 2003 год показывает, что с каждым годом все реже используется термин «транзит» (*transit, transition*), а амбициозное понятие «демократизация» все чаще заменяется более скромными выражениями вроде «политический плюрализм» или «элек-

¹⁰⁵ Minakov M. Big Europe's Gap. С. 47 и далее.

¹⁰⁶ См.: Sakwa R. (ed.). *The Experience of Democratization in Eastern Europe*. Berlin, 1999. С. 7 и далее. Об этом же пишут авторы книги «Экономика переходного периода» — о попытках российских неолибералов проанализировать свой опыт реформ и реакции на них властных элит и населения в конце 1990-х годов: Гайдар Е. и др. Экономика переходного периода. М., 1998. С. 857 и далее.

торальная демократия». Все больше публикаций посвящалось вопросам национализма и евроскептицизма, а также «системной коррупции», рожденной перекосами рыночных реформ и социальной реакцией на них. Последняя тема к 2003 году оказалась в центре всеобщего внимания как в среде ученых, так и в обществах Восточной Европы и Северной Евразии. Более того, тон публикаций резко отличался от прежнего скептицизмом и отстраненностью от энтузиазма публикаций 1989–1993 годов.

Анализируя публикации этих журналов, я отметил, что исследования постсоветского и, шире, посткоммунистического транзита можно разбить на несколько этапов. Так, в 1989–1994 годах журналы были местом дискуссий между такими группами, как: а) старшее поколение кремлеведов и «исследователей коммунизма», склонных использовать концепции времен холодной войны; б) бывшие диссиденты и новые политические лидеры в Центральной и Восточной Европе, Северной Евразии; в) возникающее молодое поколение ученых, занимающихся вопросами посткоммунизма; г) эксперты по вопросам постсоветского развития (транзитологии) из постсоветских стран и стран Запада. В это время жанры публикаций широко варьировались от стандартных научно-исследовательских работ до интеллектуальной публицистики. Одним из наиболее значимых результатов того периода стало создание общего языка и набора взглядов. Зачастую идеологически предвзятых, но с их помощью ученые и специалисты-практики в области политики и экономики описывали новую социальную реальность и цели ее развития.

После 1994 года и особенно после 1997–1998 годов публикации в этих журналах утратили свою открытую политическую ангажированность и своеобразный «профетический» стиль, но при этом стали более реалистичными. Диалог между учеными, экспертами и политиками сократился до минимума. Доклады носили все более академический описательный характер и все менее идеологический. Ко времени «десятой

годовщины» начала постсоветского транзита публикации ученых уже заметно отличались от победных юбилейных реций политических лидеров¹⁰⁷. Правда, во время постсоветских цветных революций и авторитарной реакции (2003–2005) академическое сообщество ненадолго вернулось к первоначальному постсоветскому энтузиазму, но эти эмоции быстро сошли на нет. Интеллектуалы же перешли к сбору новых данных, их критическому анализу и размышлению о собственном концептуальном аппарате. Изначальные идеи и словарь транзитологии все менее соответствовали утвердившимся реалиям и не имели прогностической ценности.

После цветных революций и связанного с ними эмоционального всплеска произошло окончательное отрезвление сторонников теории перехода. Оно же в равной степени касалось исследователей и практиков транзита. Например, все больше исследователей — в их числе и Шейл Горовиц — стали высказывать сомнения в том, что стремление к демократизации и свободной экономике действительно может быть ключом к пониманию развития постсоветских народов в 1990–2000-х годах. По их мнению, глубина и характер конфликтов во время распада восточного блока лишь отчасти были связаны с идеологическими или экономическими факторами¹⁰⁸.

В то же время Джон Драйзек и Лесли Холмс выражали озабоченность в связи с этическим вопросом транзитологии. Они подозревали, что идеологизированные исследования транзита способствовали не только преодолению «травм коммунизма», но и возникновению восточноевропейского «неблагодарного и непрощающего» капитализма, наложившегося на «сильное загрязнение окружающей среды и унаследованную

¹⁰⁷ См., например: Jeffries I. The Countries of the Former Soviet Union at the Turn of the Twenty-First Century. London, 2004; Гайдар Е. Власть и собственность. СПб., 2006.

¹⁰⁸ См.: Horowitz S. Sources of Post-Communist Democratization: Economic Structure, Political Culture, War, and Political Institutions // Nationalities Papers. 2003. № 31(2). Стр. 119–137. С. 120.

неповоротливую государственную бюрократию»¹⁰⁹. Критический самоанализ транзитологов говорил о том, что социальная реальность посткоммунизма оказалась богаче и вариативнее, чем предусматривали их первоначальные теории и исследования. Поэтому транзитологические исследования должны были пройти коррекцию, чтобы быть ближе к реальности и дальше от политики и идеологии.

Эти выводы были переформулированы Джоном Пиклзом и Эдрианом Смитом в определении двух недостатков транзитологической политэкономии. Во-первых, в этой дисциплине существовал заметный дефицит эмпирически обоснованных теорий, поддерживающих «неолиберальный взгляд на транзит, которым руководствуются западные институты и советники правительств» постсоветских стран. А во-вторых, это направление исследований необоснованно упрощало понимание транзита как «однонаправленного процесса перехода от одной гегемонной системы к другой»¹¹⁰. Выводы эти были сделаны в результате дискуссии, начатой еще в 2002–2003 годах, по вопросу о том, имеет ли вообще какую-либо научную ценность парадигма постсоветского и посткоммунистического перехода.

Самая резкая критика этой парадигмы исходила от Томаса Карозерса, который осмелился призвать к пересмотру пяти основных стереотипов теории транзита. Исследователь призывал: 1) не приравнивать отказ от советского авторитаризма к движению к демократии и 2) признать, что демократизация может проходить в несколько этапов и с разной скоростью и направленностью. Также он предлагал признать, что 3) выборы являются ключевым фактором в становлении демократии, а 4) «уровень экономического развития или этнический состав, а также исторический опыт общества» влияют и на темпы транзита, и на качество демократизации. Наконец,

¹⁰⁹ Dryzek J. S., Holmes L. Post-Communist Democratization. Cambridge, 2002. C. 3–4.

¹¹⁰ Pickles J., Smith A. Theorizing Transition: The Political Economy of Post-Communist Transformations. London, 2005. C. 1–2.

он призывал признать, что 5) «третья волна демократизации» достигает устойчивых результатов только в функционально сильном государстве¹¹¹. Несмотря на то, что эти призывы не получили широкой поддержки сразу же¹¹², они ускорили выход исследований постсоветского и посткоммунистического транзита за рамки концепции, сложившейся в 1989–1991 годы и развившейся в 90-е годы.

Этот период развития научного описания и видения транзита завершился не только призывом Карозерса к концептуальному ревизионизму, но и ростом внимания к роли этнонационализма и его влиянию на развитие стран Центральной и Восточной Европы и Северной Евразии, а также к противоречиям в собственно постсоветском государственном строительстве (в том числе возникновение сети непризнанных государств). Кроме того, все больше внимания исследователи уделяли новой — посткоммунистической и постсоветской — политической культуре и ее роли в демократической или авторитарной консолидации, результатам влияния западных международных организаций (например, МВФ, Всемирный банк, USAID и TACIS) на развитие стран региона и, наконец, растущему недовольству местных элит и обществ демократией и рыночной экономикой.

Спустя пятнадцать лет после начала постсоветского перехода в исследованиях постсоветского транзита тоже произошел транзит. Отчасти из-за описанных выше дискуссий, отчасти из-за цветных революций и эмоциональной реакции на них, а затем из-за нарастания скептицизма по отношению к транзитологии.

¹¹¹ Carothers T. The End of the Transition Paradigm // *Journal of Democracy*. 2002. № 1. Стр. 5–12. С. 7 и далее.

¹¹² Критическая реакция на статью Карозерса содержится, например, в резкой отповеди Джордана Ганса-Морзе: Gans-Morse J. Searching for Transitologists: Contemporary Theories of Post-Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm // *Post-Soviet Affairs*. 2004. № 20(4). Стр. 320–349.

Сомнение в прогрессивном качестве постсоветского транзита и возникновение нетранзитологических концепций (2003–2021)

Волна цветных революций — от «революции роз» (Грузия, 2003) к «оранжевой революции» (Украина, 2004) и к «тюльпановой революции» (Кыргызстан, 2005) — спровоцировала события, которые, вероятно, имели решающее значение для эволюции политического воображения о постсоветском переходе. Преимущественно мирные массовые гражданские протесты привели к смене правящих элит и новой волне демократических реформ и европейской интеграции в Грузии (2003–2006), Украине (2005–2006) и Кыргызстане (2005–2007). А это вызвало забытый уже энтузиазм транзитологов, политиков-демократов и гражданских активистов, поддерживающих идеи постсоветской трансформации. Новый революционный импульс дарил возможность исправить неудачи первого десятилетия постсоветского развития и довести демократизацию и маркетизацию до их логического конца. Ненадолго вернулась надежда, что постсоветский переход — с учетом всех уроков 1990-х — можно перезапустить и достичь поставленных целей¹¹³.

Энтузиазм длился не так долго, как в начале 1990-х годов: обещания революций были забыты в политической борьбе между лагерями победителей, в неизбывной коррупции, только растущей от революционных потрясений, и в авторитарной реакции соседних стран на успешные массовые протесты, особенно в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и России¹¹⁴. Столь короткий цикл от надежды к разочарованию был терапевтическим для транзитного воображения: публикации о цветных

¹¹³ Cheterian V. From Reform and Transition to “Coloured Revolutions” // Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2009. № 25(2–3). Стр. 136–160. С. 157–158.

¹¹⁴ Beacháin D. O., Polese A. (eds.). The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures. London, 2010; Минаков М. «Цветные революции» в постсоветском мире: причины и последствия // Общая тетрадь. 2012. № 2–3. Стр. 93–111. С. 95.

революциях свидетельствуют, как быстро — в течение всего пары лет — энтузиазм или разочарование сменились сбалансированным анализом.

В то же время исследования постсоветских обществ стали принимать во внимание и процессы в посткоммунистических обществах. Например, то, что кристаллизация евроскептицизма в Центральной Европе проходила одновременно с ростом и укреплением неформальных связей между коррумпированными элитами Восточной Европы и России, а также с ростом привлекательности правых идеологий¹¹⁵. В 2009 году Владимир Тисманяну с горечью признал, что, несмотря на различия в ВВП, в принадлежности к geopolитическим структурам и в глубине рыночных реформ, посткоммунистический и постсоветский регионы остаются едины от Вышеграда до Москвы и «других некогда советских республик»¹¹⁶. Во многом это единство определялось несоответствием между ожиданиями последствий транзита и результатами его событийной истории.

Если в 1990-е постсоветское политическое воображение было связано с неоспоримым влиянием западных концепций и учений, то к концу первого десятилетия XXI века новое понимание транзита вырастало одновременно и в западном, и в постсоветских исследовательских сообществах. Это была транзитология разочарования: общества востока Европы, порвав с коммунизмом, сползали в несвободные режимы, утверждая их отчасти на новых, а отчасти и на старых политэкономических основаниях. Коллективные опыты социализма и капитализма больше не рассматривались как взаимоисключающие — они накладывались, смешивались и порождали

¹¹⁵ Вот несколько симптоматичных публикаций: Neumayer L. Euroscepticism as a Political Label: The Use of European Union Issues in Political Competition in the New Member States // European Journal of Political Research. 2008. № 47(2). Стр. 135–160; Szczerbiak A., Taggart P. (eds.). *Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism*. Oxford, 2008. Vol. 1; Bugaric B. Populism, Liberal Democracy, and the Rule of Law in Central and Eastern Europe // Communist and Post-Communist Studies. 2008. № 41(2). Стр. 191–203.

¹¹⁶ Tismaneanu V. *Fantasies of Salvation*. Princeton, 2009. C. ix.

политическую экономию новой Восточной Европы и Северной Евразии с ее собственной динамикой сотрудничества и конфликтов, включая войны в Грузии и Украине. Совмещение советского и постсоветского элементов в единой модели Головаха и Панина заметили еще в 2001 году¹¹⁷, позже этот *nexus* стал важным предметом исследования многих ученых.

Прежде всего новые исследования отказывались от оценок политических и экономических процессов в соответствии с ценностями Совета Европы, ЕС или универсальными показателями либеральной демократии и верховенства права. В новой транзитологии возникало некое новое равенство воображения западных, «южных»¹¹⁸ и постсоветских интеллектуалов. Они одинаково уделяли внимание эффективности режимов, результатам социально-экономического развития, а также неформальным властным сетям. Так, понятия «конкурентный авторитаризм», «недостойное правление», «электоральный авторитаризм», «патронализм»*, «неопатrimonиализм»* или «мафиозное государство» заложили основу для описания, анализа и прогнозирования политических процессов и рисков для международной безопасности. И эти понятия были сформированы в полилоге* исследовательских групп и центров, находившихся в разных регионах. Основываясь на изучении политических трансформаций во всех странах Юга, включая постсоветские страны, Стивен Левицкий и Лукан А. Уэй утверждали, что в переходных обществах слишком часто установлению сильной демократии препятствует слабое государство, неспособное обеспечить правопорядок и верховенство закона, в то время как успешное государственное строительство увеличивает шансы на авторитарную консолидацию, которая в свою

¹¹⁷ См.: Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 4. Стр. 5–22.

¹¹⁸ В данном случае «южный» относится ко всем незападным центрам и исследователям. И хотя постсоветский регион, пожалуй, стал частью Юга, в данном случае я выношу его отдельно, чтобы подчеркнуть элемент саморефлексивности анализа постсоветского транзита.

очередь токсична для гражданских прав и достойного госуправления¹¹⁹. Александр Фисун, Владимир Гельман и Генри Хейл доказывали критическую важность неформальных, персоналистических (патрональных/патrimonиальных) сетей для развития постсоветских режимов и характера их правления. На основе этих подходов Хейл предложил систематизировать постсоветские политические системы с точки зрения «единой пирамиды» или «многих конкурирующих пирамид»¹²⁰. Балинт Мадьяр применил тот же принцип соотношения формальных и неформальных институтов власти для анализа режима в Венгрии: его исследование показало, что страна, формально являющаяся чемпионом европейской интеграции и посткоммунистического транзита, тем не менее превратилась в «мафиозное государство», политическую систему, основанную на патронате и коррупции¹²¹. Его метод был успешно применен для анализа других посткоммунистических стран, включая Беларусь, Россию, Румынию и Украину¹²².

Кроме того, концепция европеизации, которая долго находилась вне критического обсуждения, также попала под пересмотр современных транзитологов. Например, Ричард Янгс продемонстрировал, как «европейская интеграция» по-

119 Levitsky S., Way L. A. Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge, 2010. С. 355–357.

120 Fisun O. Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective // Demokratizatsiya. 2012. № 20(2). Стр. 87–96. С. 88 и далее; Гельман В. Я. «Недостойное правление»: политика в современной России. СПб., 2019. С. 13 и далее; Hale H. E. Patronal Politics. Cambridge, 2014. С. 64–67.

121 Magyar B. Post-Communist Mafia State. Budapest, 2016.

122 Rouda U. Is Belarus a Classic Post-Communist Mafia State? / B. Magyar (ed.) // Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Budapest, 2019. Стр. 247–274; Magyari L. The Romanian Patronal System of Public Corruption / B. Magyar (ed.) // Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Budapest, 2019. Стр. 275–319; Petrov N. Putin's Neo-Nomenklatura System and Its Evolution / B. Magyar (ed.) // Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Budapest, 2019. Стр. 179–216; Minakov M. Republic of Clans: The Evolution of the Ukrainian Political System / B. Magyar (ed.) // Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Budapest, 2019. Стр. 217–245.

сле тридцати лет применения изменила свои формы и содержание (преимущественно в отношении постсоветских стран, но не только)¹²³. Основываясь на анализе современных политических теорий и административных практик европеизации, Янгс выделил пять типов, некоторые из которых не вписываются в идеальный тип европеизации и как минимум не коррелируют с демократизацией. Первый тип — «остаточная» европеизация, которая и сегодня сохраняет потенциал и демократическое притяжение к ЕС, но существенно меньше, чем в 1990–2000-е годы. Второй тип — «политически нейтральная» европеизация, являющаяся влиятельной тенденцией, способной формировать реальные процессы распределения власти и ресурсов в ЕС и соседних регионах, безразличные к их демократическому или правовому качеству. Третий тип — «антидемократическая европеизация» — касается тех «антилиберальных тенденций внутри ЕС, которые питаются кислородом антилиберальных акторов во всем европейском пространстве». «Обратная европеизация» — четвертый тип, который описывает тот факт, что ЕС и его практики приобретают все меньшую актуальность в определенных сферах или регионах как самой Европы, так и соседних регионов и даже отталкивают некоторые страны, заставляя их выходить из ЕС или отказываться от участия в проектах «партнерства». Пятый и последний тип — смешение вышеуказанных форм в «дву направленной европеизации», которая «может работать и в интересах демократии, и в ущерб ей»¹²⁴. Критичное и реалистичное рассмотрение практик «европеизации», когда-то связанных с концепцией демократического транзита, открывает у Янгса совершенно новое поле исследований как типов европеизации, так и увеличения зазора между ее реальными практиками и изначальной концепцией.

¹²³ Youngs R. The New Patchwork Politics of Wider Europe // Centre for European Policy Studies website. October 28, 2019. URL: <https://3dcftas.eu/publications/the-new-patchwork-politics-of-wider-europe>.

¹²⁴ Там же.

Все большую роль в новом понимании и оценке постсоветского транзита играли и новые левые Юга. Одним из наиболее влиятельных критиков исследований постсоветского перехода и связанного с ним политического воображения является Даян Джаятилека, яркий представитель современного деколониального движения. Для деконструкции гегемонного дискурса Глобального Севера/Запада он проводит ревизию концепции постсоветского транзита. Джаятилека утверждает, что контроль Запада над памятью о Советском Союзе и восточном блоке и над пониманием постсоветского транзита является частью стратегии его гегемонии, подрывающей прогрессивистские движения Юга¹²⁵. Как Джаятилека, так и многие другие левые интеллектуалы стран Азии, Латинской Америки и Африки утверждают, что истоки и движущие силы кризиса коммунизма находились в самом СССР. Это означает, что Советский Союз не был «побежден» Западом, а, скорее, рухнул по собственным внутренним причинам. Таким образом, убежденность западных элит в том, что социализм рухнул из-за экономического превосходства капитализма, не обязательно верна. Опыт постсоветских стран, развивающихся три десятилетия по капиталистической модели, показывает, что они остаются более дезорганизованными и бедными, чем страны глобального капиталистического ядра. Вывод Джаятилека и ряда других «южных» исследователей постсоветского транзита заключается в том, что социализм не был обречен, что его можно реформировать, учитывая советские и постсоветские уроки, и что эти уроки нужно изучать с не меньшим тщанием, чем неолиберальные теории развития¹²⁶.

Кроме того, важно отметить, что в транзитологии все более важным становится голос китайского академического сообщества с его исследованиями проблем постсоветского

¹²⁵ Jayatilleka D. The Fall of Global Socialism: A Counter-Narrative from the South. Basingstoke, 2014. C. 2.

¹²⁶ Там же. С. 2–4.

транзита. Я могу судить об этих исследованиях только по эпизодическим англоязычным публикациям, которые тем не менее демонстрируют постоянный интерес современного Китая к причинам распада СССР, а также внимательное изучение постсоветского транзита. Примером такого интереса является серия исследовательских программ Китайской академии общественных наук (1993–2006 гг.), посвященных кризису Советского Союза и постсоветскому развитию¹²⁷. По мнению Гуаня Гуйхая (Guan Guihai), эти исследования были направлены на изучение исторических причин распада СССР и уроков посткоммунистического перехода в Восточной Европе, России и Средней Азии¹²⁸.

Отдельно стоит отметить, что в этот же период активно развивались учения (и соответствующие им социальное воображенение и словари), которые радикально противоречили перспективам транзитологов всех направлений и вводили специфичную слепоту к постсоветским феноменам. Прежде всего речь идет о неотрадиционалистах «всех мастей» — этнонационалистах, панславистах, неоимпериалистах, социал-националистах, неоевразийцах, национал-большевиках, суверенистах и многих других. В их оптике период с 1991 по 2022 год рассматривался в иной перспективе — в перспективе «плюралистической онтологии народа», «этногенетики», «истории нации», «суверенной политики» и «популярной geopolитики»¹²⁹.

¹²⁷ Guihai G. The Influence of the Collapse of the Soviet Union on China's Political Choices / T. Bernstein et al. (eds.) // China Learns from the Soviet Union, 1949–Present. New Haven, 2010. Стр. 505–516. С. 506.

¹²⁸ Там же. С. 507.

¹²⁹ Например, см. работы Александра Дугина (*Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала*. М., 2010; *Дугин А. Этносоциология*. М., 2015), Юрия Михальчишина (например, серия его статей 2011–2019 гг. в национал-революционном журнале «Ватра»), Владислава Суркова (*Сурков В. Основные тенденции и перспективы развития современной России*. СПб., 2008; *Сурков В. Одиночество полукровки (1+4)* // *Россия в глобальной политике*. 2018. № 1–3. Стр. 124–129; *Сурков В. Долгое государство Путина* // *Независимая газета*. 11.02.2019. URL: https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html. Аналитические работы об этом типе воображаемого см.: *Gelashvili T. Opportu-*

Перерабатывая некоторые элементы философии Мартина Хайдеггера¹³⁰, теории политики Карла Шмитта, а также целого ряда локальных национал-консервативных идеологов конца XIX – начала XX в., эти мыслители, идеологи, активисты и политики долгое время находились на «обочине» магистральных попыток осмысления постсоветского периода. Но чем сильнее становилась «третья волна автократизации» и чем ближе эпоха подходила к цезуре 2022 года, тем сильнее становилось их влияние на политиков, а затем и на научные и образовательные сети, СМИ и общество в целом. В конце концов война 2022 года и радикальные изменения в международных отношениях, положившие среди прочего конец постсоветской эпохи, привели к тому, что воображение и словарь неотрадиционалистов были приняты многими политическими лидерами, военными и дипломатами. В этом воображении период после цезуры 1989–1991 годов был историческим кризисом Востока, за которым последует «великое пробуждение» народов Евразии, и оно приведет либо к установлению «онтологически справедливого» «геополитического плюрализма», либо к мировому кризису и долгому «одиночеству» таких стран, как Россия¹³¹. Все боль-

nities Matter: The Evolution of Far-Right Protest in Georgia // Europe-Asia Studies. 2023. № 4. Стр. 649–674; Shekhovtsov A. Russia and the Western Far Right: Tango Noir. London, 2017; Shekhovtsov A., Umland A. The Maidan and Beyond: Ukraine's Radical Right // Journal of Democracy. 2014. № 3. Стр. 58–63; Umland A. Historical Esotericism as a Method of Cognition. How Russian Pseudoscientists Contributed to Moscow's Anti-Western Turn // Ideology and Politics Journal. 2023. № 1. Стр. 294–308; Умланд А. Типичная разновидность европейского правого радикализма? Четыре особенности Всеукраинского объединения «Свобода» в сравнительной перспективе // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. Стр. 19–29.

¹³⁰ О специфике прочтения хайдеггеровской философии неотрадиционалистами см., например: Love J. (ed.). Heidegger in Russia and Eastern Europe. Lanham, 2017; Апполонов А. Неожиданные приключения Хайдеггера в России // Логос. 2015. № 2. Стр. 224–232; Лаврухин А. Хайдеггер Дугина и надежды на русскую консервативную революцию // Русская истина. 17.06.2016. URL: <https://politconservatism.ru/experiences/hajdeger-dugina-i-nadezhdy-na-russkuyu-konservativnyuyu-revolutsiyu>.

¹³¹ См.: Дугин А. Большая Перезагрузка и Великое Пробуждение // РИА Новости. 15.02.2021. URL: <https://ria.ru/20210215/perezagruzka-1597564983.html>; Сурков

шую роль стала играть и новая система управления населением, принявшим национал-консервативные ориентиры, органы власти, управляющие коллективной памятью¹³². К концу эпохи постсоветские публичные дискуссии в значительной мере происходили между разными лагерями национал-консерваторов с минимальным участием либералов и левых мыслителей¹³³.

В то же время поразительно, как надежно и бесповоротно постсоветское воображение не принимало ни марксистскую, ни постмарксистскую левую критику. Частью общей постсоветской социальной реальности стали не только дикий восточноевропейский капитализм и вопиющее неравноправие по множеству параметров, но и неприятие социалистической или социал-демократической идеологии для партийного строительства или протестных движений в постсоветских странах. Уже в 1998 году Мирослав Попович указывал, что левые идеи в постсоветском контексте большинству населения казались регressiveными и реакционными, тогда как националистические идеи продвигали «консервативное Возрождение», «конструкцию Нового Общества» и «создание Государства... и Нации из аморфной массы»¹³⁴. Такое воображение было эффективно во многом еще и потому, что запрос на социальную справедливость постоянно «канализировали» (и попутно цинично подрывали любую надежду на сокращение социальных разрывов) популисты — Александр Лукашенко

В. Одиночество полукровки (14+). Стр. 1 и далее.

132 О конфликтах коллективной памяти см.: Mälksoo M. The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // European Journal of International Relations. 2009. № 4. Стр. 653–680; Langenbacher E., Shain Y. Power and the Past: Collective Memory and International Relations. Washington, 2010; Kasianov G. Memory Crash: The Politics of History in and around Ukraine, 1980s–2010s. Budapest, 2022.

133 О специфике идеологических дебатов в рамках «консервативного консенсуса» см.: Якубін О. «У противостоянні двох консерватизмів немає місця прогресу». Михайло Мінаков про вибори, популізм та українських інтелектуалів // Спільне. 05.06.2019. URL: <https://commons.com.ua/en/intervyu-z-mihajlom-minakovim/>.

134 Попович М. Міфологія в суспільній свідомості посткомуністичної України // Дух і Літера. 1998. № 3–4. Стр. 57–69. С. 65–66.

в Беларуси, Владимир Жириновский в России или Юлия Тимошенко в Украине. И хотя левая и леволиберальная идея, критика и даже практика все время присутствовали в постсоветских странах, они не смогли повести за собой ни протесты на Болотной, ни Евромайдан, ни белорусский Протест-2020, ни антивоенные движения в Беларуси и России 2022 года. Постсоветские левые интеллектуальные движения¹³⁵ не смогли стать противовесом ни неоградиционалистам, ни неолибералам, ни «технократам», а их влияние на языки транзитологии было еще меньшим, чем консерваторов.

Война и прерванный транзит

Постсоветская эпоха с ее посткоммунистическим транзитом закончилась в 2022 году. Теперь анализ можно продолжить на новых основаниях: эта эпоха стала сформированным, *завершенным предметом исследования*, по отношению к которому можно удерживать не только исследовательскую дистанцию, но и временну́ю. Транзитология оказалась важной и жизнеспособной трансдисциплинарной академической областью, долгое время бывшей центром не только исследовательского, но и политического воображения о процессах в постсоветских обществах. Исследователи-транзитологи сталкивались с несколькими постоянно меняющимися, но взаимосвязанными обстоятельствами: с прогрессом и регрессом постсоветских обществ, с плюрализмом методов и позиций в самой дисциплине. Сейчас общества Восточной Европы и Северной Евразии вышли из постсоветского состояния, погружаясь в новую историческую цезуру и готовясь к вступлению в новую эпоху

135 Интеллектуальные поиски этого лагеря обнаруживаются в журналах «Архэ» и «Топос» в Беларуси, в дискуссиях на платформах «Спільне» и «Хвиля» в Украине, в спорах на страницах «Неприкосновенного запаса» и «Логоса» в России, в работах Ильи Будрайтиса (*Будрайтис ис И. Мир*, который построил Хантингтон и в котором живем все мы. Парадоксы консервативного поворота в России. М., 2022), Ярослава Грицака (*Грицак Я. Подолати минуле: глобальна історія України. Львів, 2021*) или Бориса Кагарлицкого (*Кагарлицкий Б. Долгое отступление. М., 2023*).

с иными характеристиками, мало связанными с собственно советским наследием.

Особо стоит отметить, что понимание процессов в постсоветских странах и регионе в целом в последние годы все меньше зависело от словаря и оптик разных транзитологических школ Запада. Одновременно все сильнее становилась национальная или «суверенная» перспектива в социальных и политических науках, оказывавшихся под идеологическим контролем правительства. Хотя Восточная Европа и Северная Евразия и оставались мир-системной периферией, гегемония концепций, рожденных в западных университетах, в последнее десятилетие постсоветской эпохи оказалась значительно поколеблена. Ее влияние на языки самоописания современных народов и властных элит на востоке Европы подточено научными школами и идеологическими группами, описывавшими социально-политические и культурные процессы в обществах после распада СССР в терминах национальной или даже субнациональной истории.

Постсоветский переход был заложником политической веры в либеральный прогресс, отсылающий к лучшему желанному будущему. Это верование отвечало и на запрос позднесоветских множеств, и на возникающие постсоветские национальные картины мира. Но в борьбе за видение будущего победили лидеры национализации, в скором времени задавшие тон в интерпретации этого будущего в терминах исправления — а чаще повторения — ошибок прошлого. Мирослав Попович был прав, указывая на диалектику национал-консервативной гегемонии, которая из «национального Возрождения» выводила прогресс, ориентированный на былое. Именно поэтому такую важную роль приобрели институты управления коллективной памятью, а конфликты последнего периода постсоветской эпохи превращали память в еще один тип оружия.

В трансформациях постсоветского воображения значение транзита-перехода потеряло точку референции*: будущее не только стало напоминать прошлое, но и потеряло

жизненаправляющую ценность. Постсоветское кочевье началось с развода Союза, но на пути к землям обетованным пророчество, его направлявшее, было забыто. Постсоветский человек дезориентировался, как об этом мечтал Юрий Андрухович, но с иным результатом: он не стал жителем центра Европы, а просто заблудился во все более диком поле, дичая вместе с ним.

Часть четвертая

Плоды постсоветской политической креативности

Итак, оба плана постсоветской истории, событийный и нарративный, описанные в двух предыдущих частях, указывают на то, что хотя этот период и был относительно недолгим — между холодной и российско-украинской войнами, — он был и временем ярких драматических происшествий в жизни народов Восточной Европы и Северной Евразии. Результаты этих процессов имеют критическое значение как для понимания причин хрупкости демократических итогов и инфраструктуры мира между народами в регионе, так и для прогнозирования дальнейших процессов в этой части мира. Во второй межвоенный период восточноевропейские и североевразийские общества заново изобретали государственность, идеологический плюрализм, конкурентную политику, гражданственность, национальность, социальную инклюзивность, богатство, бедность и другие политические и социально-политические феномены, институты и практики. И в этих творческих процессах свобода и подчинение, демократическое творчество и авторитарные инновации сосуществовали и боролись за доминирование в каждом обществе и во всем регионе в целом.

В заключительной части этой книги я попытаюсьвести своего рода «бухгалтерский баланс за отчетный период»: чего именно достигли постсоветские народы с точки зрения значимых демократических и автократических институциональных достижений. В этом мне помогут базы данных, касающиеся разных измерений политических и социально-экономических процессов в постсоветских странах, но чаще я буду использовать данные и основанные на них индикаторы

высокого уровня обобщения из базы «Разнообразие демократии»¹³⁶.

Демократические достижения постсоветских народов

Самым значимым достижением демократического творчества постсоветских народов является построение новых государств, основанных на системах с распределенной верховной властью — едва ли не первой длительной практикой такого рода в данном регионе. Конечно, государства в Восточной Европе и Северной Евразии существовали задолго до постсоветского периода, поэтому государственное строительство в последние тридцать с лишним лет стоит расценивать именно как переоснование государственности. Это переоснование, как описано выше, связано с преодолением советского политического опыта, в связи с чем новые государства должны были обеспечить политическую свободу, возможность предпринимательства, верховенство права и гарантии невозврата к советской политической действительности.

Новые политические институты переосновывались в ходе пересмотра соотношения публичной и приватной сфер, существовавших в Советском Союзе. Большевистский социополитический эксперимент, сталинский тоталитаризм и постсталинский советский авторитаризм во многом отличались и внутренне составляли разнообразие единого советского состояния. Это единство обеспечивалось прежде всего тем, что публичная сфера их социального мира разрослась до таких масштабов, что поглотила большую часть жизненных про-

136 База «Разнообразие демократии» — или V-Dem — предоставляет многомерный и дезагрегированный набор данных, который отражает сложность концепции демократии как системы правления, выходящей за рамки простого наличия выборов. Ее исследовательский коллектив различает пять высокоразвитых принципов демократии: электоральный, либеральный, партисипативный*, совещательный и эгалитарный*. А также собирает данные для измерения этих принципов, в том числе относящиеся к постсоветским странам. Больше об этой базе данных см.: Varieties of Democracy, n.d. URL: <https://www.v-dem.net/>.

странств приватной сферы. Советская система колонизировала Жизненные миры^{*} восточноевропейских и североевразийских сообществ с помощью альтернативной модернизационной программы, где научно-секулярное индустриальное мировоззрение и марксистская универсалистская этика соседствовали с неэмансипированным индивидом и особой коллективностью, распределенной по ячейкам советской социальной структуры¹³⁷. В этом структурном дисбалансе между двумя сферами публичность теряла свою эмансипирующую силу, а приватность была не способна защитить культурную ризому*, придающую смысл жизни индивидам и сообществам. Партийный идеологический отдел ЦК создавал лишь идейные суррогаты, подменяющие ценностно-смысловые структуры Жизненного мира. Какое-то время это срабатывало, но к концу 1980-х эти суррогаты утратили действенность и привели советское общество к глубочайшему экзистенциальному кризису.

Разрастание публичности связано с тем, что сверхорганизация единой партии — Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) — контролировала все публичные, государственные, экономические, финансовые, культурные и прочие институты. КПСС была своего рода переосмысленной сверхорганизацией гражданского общества, установившей контроль за публичными и приватными институтами, включая другие гражданские ассоциации, семью, общину, бизнес, религию и даже интимность. В условиях разросшейся публичной сферы руководящие подразделения партии срослись с центрами власти, вобрали их и стали ими.

Именно поэтому энергия постсоветского политического творчества отчасти была направлена на разрушение партийной монополии в союзном центре и в советских республиках. Уже в 1988–1989 годах, когда проходила первая довольно свободная избирательная кампания в СССР, борьба с привилегированным

¹³⁷ Об этом подробнее см.: Минаков М. Диалектика современности в Восточной Европе. Опыт социально-философского осмысливания. Киев, 2020. С. 18 и далее.

положением компартии, установленным статьей 6 Конституции СССР, стала приоритетом оппозиционных депутатов. Эта статья советской конституции гласила:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидающей деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма»¹⁵⁸.

С началом декоммунизации в 1991 году во всех советских республиках КПСС, ее структуры, а также силовое ведомство КГБ стали объектами запретов. Так, компартию запретили либо по решению республиканских Верховных Советов (например, в Украине ее запретили 30 августа, а в Латвии — 10 сентября) или по решению республиканских президентов (например, в Узбекистане — 29 августа, а в России — 6 ноября). Как правило, позже эти решения дублировались судебными решениями. Имущество КПСС передавалось республиканским правительствам. Разветвленную партийную сверхструктуру уничтожали как своего рода плотину, сдерживавшую энергию политического творчества сообществ Восточной Европы и Северной Евразии¹⁵⁹.

Преодолевая советский опыт, постсоветское государственное строительство основывалось на многопартийных системах в новых обществах, освобождении политических

¹⁵⁸ Конституция СССР. М., 1977. Ст. 6.

¹⁵⁹ Больше о десоветизации начала 1990-х см.: Волгин Е. Проблема департизации в России в начале 1990-х гг. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2014. № 4. Стр. 102–123; Касьянов Г. Украина 1991–2007: очерки новейшей истории. Киев, 2008. С. 22 и далее; Мухаметов Р. Роль декоммунизации в политическом транзите государств Восточной Европы // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 1. Стр. 204–210.

институтов от контроля партии и одновременно контроля граждан над возникающими институтами, распределением центров власти с помощью новых конституций, партий, СМИ и гражданских организаций.

Стоит учитывать, что представление о политике, государстве, праве, экономике или конкуренции у граждан позднего Советского Союза было связано с двумя типами личного опыта: с участием в публичной жизни в позднесоветском авторитарном обществе и с утопическим воображением о «западной свободе». Это воображение формировалось как в виде сопротивления советской пропаганде (с ее критикой буржуазных идей и институтов), так и в виде восприятия информации из «западных источников» и политических верований перестроекных времен. Если советский политический опыт был предметом для (само)преодоления, то политическая и экономическая свобода — весьма смутным объектом политического воображения. На практике мало кто из акторов постсоветских преобразований на личном опыте знал, что такое свобода, что такое политическая партия, как функционирует идеологическое многообразие, как выстраивать отношения между ветвями власти или где проложить границу между приватной и публичной сферами. Постсоветский период начинался с потребности и желания создавать новые государства и политико-правовые режимы, не имея при этом ни опыта, ни знаний. Что по-своему подчеркивает и свободу, и дерзость революционных начинаний того времени.

Сознательно порывая с советским политическим опытом, постсоветские государства строились как будто с нуля, в хаосе цензуры 1989–1991 годов и связанных с нею двух революционных пространств — публичного и приватного. Люди, не имевшие личного опыта политической, экономической, социальной или религиозной свободы, на свой страх и риск полагали новые начала новых обществ, государств, фирм, гражданских и религиозных организаций. Волна «приватных» революций вела к возникновению новых частных предприятий,

к приватизации советских госпредприятий, к запуску новых для советского человека сфер услуг и финансовых учреждений. Семья, сексуальность, гендер, телесность и интимность оказывались пространством для экспериментирования с собой, своими близкими и Иными. В то же время волна «публичных» революций создавала новые государства, конституции, политico-правовые системы, конкурентную политику, идеологический плюрализм и пространство для гражданских движений и организаций.

Ирония истории заключается в том, что постсоветские государства выросли из Советов: именно союзный и республиканские Верховные Советы, избранные в 1989–1990 годах, стали платформами для создания новых политических пространств. Верховный Совет СССР стал стремительно терять свое значение в августе 1991 года из-за попытки переворота ГКЧП и прерывания процесса подготовки нового Союзного договора. Хотя советские граждане поддержали идею «обновленного Советского Союза» на мартовском референдуме 1991 года, ни президент СССР Михаил Горбачев, ни Верховный Совет СССР не смогли реализовать волю граждан. С победой президента РСФСР Бориса Ельцина над путчистами в Москве республиканские Верховные Советы получили возможность создать независимые государства на территориях своих республик.

В рамках советской политической системы Верховный Совет был высшим органом государственной власти, в его структуре исполнительная и законодательная ветви власти формально слиты. Судебная ветвь власти в СССР, опять же формально, существовала отдельно. Отдельно существовали республиканские и союзные госструктуры (за исключением России, чьи структуры в СССР оказались почти не развиты, а РСФСР управлялась по большей части союзовыми институтами). Однако эти формальные отличия имели мало реального веса из-за всеобъемлющего контроля КПСС, воплощавшей единство верховной власти во всех ее измерениях.

Выборы в республиканские Верховные Советы в 1990 году привели к власти новое поколение политиков, которые, в отличие от союзных народных депутатов, оказались гораздо более дистанцированы от компартии. Формально многие из них все еще были членами КПСС, хотя в республиканских выборах могли участвовать кандидаты и от некоммунистических партий. Партийный плюрализм и даже парламентское некоммунистическое большинство возникали в республиканских советах. Так, в Верховный Совет РСФСР прошли 86% членов КПСС (при 11% депутатов от «Демократической России»), в Верховный Совет Литовской ССР — 36% (при 68% представителей движения «Саюдис»), в Верховный Совет Украинской ССР — 53% (остальные — независимые или представители четырех альтернативных коммунистам блоков), а в Верховный Совет Грузинской ССР — 30% (остальные — представители десяти блоков с 54% мандатов у блока «Круглый стол — Свободная Грузия»)¹⁴⁰. Было большинство голосов у членов КПСС или нет, но именно эти Верховные Советы принимали решения о независимости своих республик и о новом распределении властных полномочий после распада СССР с постоянно уменьшающейся ролью компартии и ее тающих рядов¹⁴¹.

Начиная с 1992 года можно говорить о том, что из республиканских Верховных Советов выделяются две ветви власти — правительство (исполнительная власть) и парламент (легислатура). Правительство объединяло элементы двух советских органов — Президиума Верховного Совета и Совета Министров, а парламенты формировались из оставшихся оргструктур Верховного Совета. Этот процесс шел непросто,

¹⁴⁰ Об этом см.: Olson D. M., Norton P. Post-Communist and Post-Soviet Parliaments: Divergent Paths from Transition // *The Journal of Legislative Studies*. 2007. № 13(1). Стр. 164–196; Turovsky R. Party Systems in Post-Soviet States: The Shaping of Political Competition // *Perspectives on European Politics and Society*. 2011. № 12(2). Стр. 197–213.

¹⁴¹ Как правило, это происходило в виде создания конституционных комиссий и принятия новых конституций. Но в некоторых случаях могло происходить в виде «конституционных договоров», как, например, в Украине.

поскольку новые ветви власти в начале 90-х стали вести борьбу за институциональное превосходство в политической системе. Эта борьба могла принимать радикальные формы, как в случае подавления Государственной Думы РФ в Москве 1993 года или как «перетряхивание депутатов» (применение личных репрессий) президентом Лукашенко, усиливающим свою власть в Минске после победы на выборах в 1994 году. Или же проходила легко, почти в одно касание, как в Казахстане и Туркменистане в 1992–1994 годах.

К началу XXI века эта борьба между ветвями власти привела к формированию в постсоветском регионе шести парламентских республик (Армения, Грузия¹⁴², Латвия, Литва, Молдова и Эстония), двух формально полупрезидентских республик (Азербайджан и Украина)¹⁴³ и семи президентских республик (Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Специфичные президентские республики сформировались также в четырех непризнанных постсоветских государствах: в Абхазии, Нагорном Карабахе, Приднестровье и Южной Осетии¹⁴⁴. В случае парламентских республик парламенты оставались ведущим политическим институтом, который утверждал законы и контролировал правительство. В президентских республиках президенты возглавили исполнительную власть и с помощью формальных

¹⁴² До 2017 года Грузия была полупрезидентской республикой.

¹⁴³ При этом неформально президенты обеих стран имеют больший вес, чем парламенты. В случае Украины республика переходила несколько раз из формализации то парламентско-президентской, то президентско-парламентской республики, однако в реальности каждый президент добивался неформального, а иногда и формального верховенства.

¹⁴⁴ Эта же форма правления также была установлена в гособразованиях Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2022 гг. Специфика этих президентских республик — неразрывная связь президентов со спецслужбами или военными ведомствами СССР или России. Этот президенциализм во многом связан с высокой вероятностью ведения войн с «материнскими государствами» и постоянным существованием постсоветских непризнанных гособразований в чрезвычайном положении.

и неформальных методов контролировали парламенты¹⁴⁵. В случае смешанных республик с гибридными режимами (например, в Украине) с 1992-го и вплоть до 2019 года президенты и парламенты боролись за контроль над Кабинетом министров. Кроме того, разделение властей функционировало как дистанция между центральными и местными выборными и назначаемыми органами власти. Так или иначе, критичным для построения постсоветского демократического государства было принятие элитами и населением идеи о разделении верховной власти государства на ветви под управлением назначаемых и выборных чиновников, а также воплощение этого деления на практике.

Разделение верховной власти на ветви и уровни

То, как это разделение стало частью постсоветской политической практики, можно увидеть с помощью Индекса разделения власти¹⁴⁶. Измерение этого показателя отвечает на вопрос о том, существуют ли выборные местные и региональные органы власти, и если да, то в какой степени они могут работать без вмешательства со стороны неизбираемых органов на местном уровне. Соответственно, самый низкий балл присваивается

145 Впрочем, в случае Молдовы президенты Владимир Воронин (2001–2009) и Майя Санду (правит с 2020 года) действовали с позиций доминирования над парламентом.

146 Тут и далее в этом разделе измерения индексов и других показателей взяты из базы данных V-Dem. В большинстве случаев сравнение постсоветских процессов ведется по четырем страновым кейсам* — Эстонии, России, Украине и Узбекистану. Эстонский пример — парламентская республика со стабильно высокими показателями демократического развития, при сильном влиянии институтов Совета Европы, ЕС и НАТО. Россия — пример президентской республики, пережившей период демократизации, но затем упадок демократии перерос в период глубокой автократизации, при некотором влиянии институтов Совета Европы. Украина — пример смешанной республики с несколькими переходами от роста к упадку демократии и от роста к упадку автократии, при некотором влиянии институтов Совета Европы и ЕС. И, наконец, Узбекистан — пример президентской республики с долгой автократизацией после очень недолгого периода демократизации, с минимальным влиянием извне на политические структуры страны.

стране, где выборные должности подчинены невыборным должностям, а высокий — стране, в которой избранные органы власти могут действовать без ограничений со стороны неизбранных субъектов¹⁴⁷.

Как показывает Индекс разделения власти (см. график 1), в трех случаях из четырех разделение исполнительной и законодательной ветвей власти четко и однозначно происходит между 1990 и 1992 годами. В Эстонии это разделение закрепилось еще в первые годы восстановления независимости и оставалось стабильным вплоть до момента написания этой книги. В Украине и России разделение исполнительной власти и легислатуры произошло в тот же момент, но оставалось предметом борьбы в политической системе между ветвями власти. В России президентализм победил в 1993 году и с тех пор постоянно усиливался. А Украина устанавливала парламентско-президентскую модель правления в 2006–2010 годах и с 2014 года, хотя неформально даже в эти моменты президентский институт усиливал свое влияние не только на исполнительные органы, но и на законодателей. В случае Узбекистана представлена модель тех постсоветских государств, которые после раз渲ала СССР крайне быстро свернули демократизацию и перешли к верховенству власти назначаемых органов, а не выборных.

Достижения постсоветских народов в разделении верховной власти дополняют данные Индекса «Законодательные ограничения исполнительной власти». График 2 описывает, как законодательная власть, а также генеральный прокурор или омбудсмен — институты, привнесенные извне как демократические модели, но существенно переосмыслиенные в постсоветских национальных государствах, — были способны осуществлять надзор за исполнительной властью¹⁴⁸. На графике видно, что эстонский и узбекистанский кейсы представляют

¹⁴⁷ Varieties of Democracy. February 2023. URL: <https://v-dem.net/about/v-dem-project/methodology/>.

¹⁴⁸ См.: Varieties of Democracy, n.d. URL: <https://www.v-dem.net/>.

полярные примеры того, как выборная легислатура контролирует исполнительную власть (в первом случае) или как органы исполнительной власти контролируют избираемых законодателей (во втором случае). В случае России видно, что борьба двух ветвей власти в течение всех 90-х завершилась в XXI веке системным доминированием исполнительной ветви в РФ (сближаясь с узбекской ситуацией). Украинский кейс связан с продолжением системного противостояния ветвей власти вплоть до начала правления Владимира Зеленского.

Переоснование государства, гражданственность и этнонационализм*

Не менее важным было представление об источнике суверенитета и легитимности пере основанного постсоветского государства. Для части этих государств источником легитимности стало волеизъявление граждан на референдуме (Туркменистан, Узбекистан и Украина). Для других новых государств источником суверенитета была историческая традиция государственности, прерванная Советским Союзом и восстановленная с его распадом (Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова и Эстония). В прочих случаях решения о переосновании принимались Верховными Советами как представительными органами республик и их граждан.

В дополнение к воле граждан или истории легитимность новых государств вытекала из ценностей демократии и верховенства права. Это заметно, например, в формулировках деклараций о суверенитете и независимости постсоветских республик, а также ранних постсоветских конституций. В них присутствует не только формальная сила официальной фундирующей санкции, но и фиксация политического воображаемого новых политических сообществ, представляющих себя основателями демократических правовых и политических систем.

«Верховный Совет Украинской ССР, выражая волю народа Украины, стремясь создать демократическое общество, исходя из потребностей всестороннего обеспечения

прав и свобод человека, уважая национальные права всех народов, заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины, признавая необходимость построения правового государства, имея целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины, ПРОВОЗГЛАШАЕТ государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях» (Декларация о государственном суверенитете Украины, 16 июля 1990 года).

«Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества, ПРОВОЗГЛАШАЕТ начало процесса утверждения независимой государственности» (Декларация о независимости Армении, 23 августа 1990 года).

«Выражая волю Народа, Верховный Совет Литовской Республики постановляет и торжественно провозглашает, что восстанавливается реализация суверенных прав Литовского государства, попранных чужой силой в 1940 году, и отныне Литва вновь становится независимым государством. Акт Литовского Совета о Независимости от 16 февраля 1918 года и Резолюция Учредительного Сейма от 15 мая 1920 года о восстановлении демократического Литовского государства никогда не утрачивали правовой силы и являются конституционной основой Литовского государства. Территория Литов-

ского государства является целостной и неделимой, на ней не действует конституция любого другого государства. Литовское государство подчеркивает свою приверженность общепризнанным принципам международного права, признает неприкосновенность границ, как это сформулировано в Заключительном акте Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятом в 1975 году, гарантирует права человека, гражданина и национальных меньшинств. Верховный Совет Литовской Республики как выразитель суверенной воли настоящим актом приступает к реализации полного суверенитета Государства» (Акт о восстановлении независимости Литовского государства, 11 марта 1990 года).

Одновременно с этим демократическим началом в тех же документах присутствуют гражданский и этнонационалистический аргументы. Постсоветские демократические государства основывались как политико-правовые системы, укорененные в этнонациональные сообщества. Что еще раз демонстрирует, как в начале 1990-х демократизация и национализация шли рука об руку в процессе основания государств. Впрочем, в дальнейшие этапы постсоветской эпохи эти две тенденции не только поддерживали, но и подрывали друг друга, создавая динамику политических режимов, по-разному использовавших возможности возникших политических систем, и управляя многообразием населения на подконтрольных территориях.

По замыслу республиканских лидеров, управлявших распадом СССР, новые государства должны были существовать в пределах административных границ советских республик. Территориальное измерение новых государств по умолчанию легитимировалось советским административно-территориальным наследием¹⁴⁹. Впрочем, демократизация вовлекала граждан в принятие решений и делала их активными участниками, в том числе и процессов определения границ.

149 В случае Украины эта легитимность была в незыблемом областном делении, закрепленном как в Конституции, так и в политическом воображении элит и населения.

А национализация политического воображения увязывала границы с этническими, языковыми, конфессиональными и прочими идентичностными группами. Такая взаимосвязь вела к «параду суверенитетов» не только союзных республик, но и в пределах самих республик. В Азербайджане, Грузии, Молдове, Российской Федерации и Украине это привело к сильным сепаратистским, а зачастую и ирредентистским и сецессионистским процессам¹⁵⁰. Кровавые национальные конфликты на Южном Кавказе могли привести к этническим чисткам и образованию непризнанных государств, поддержаных Москвой в случаях Абхазии и Южной Осетии и Ереваном в случае Нагорного Карабаха в 1990–1993 годах. В те же годы в Молдове конфликт между гражданами перешел в войну с участием и России, что привело к ситуации, когда правительство в Кишиневе утратило контроль за Приднестровским регионом. В 1992–1994 годах под угрозой была и целостность Украины из-за сепаратистского движения в Крыму. И сама Российская Федерация находилась под угрозой распада, преодоленного Москвой с помощью как военной силы (например, на Северном Кавказе), так и политических средств (например, в Татарстане и Башкортостане).

С одной стороны, ирредентизм и сецессионизм были продолжением тех же процессов фрагментации советского общества, которые привели к независимости и советские республики. Постсоветское политическое творчество и массовые национально-освободительные движения неизбежно шли в рамках советских административных границ. С другой стороны, войны и этнические конфликты, возникавшие в процессе фрагментации Союза, оказывали самое негативное влияние на демократическое качество постсоветского политического творчества. Часть проблем, связанных с этими процессами, была разрешена благодаря подписанию Будапештского меморан-

¹⁵⁰ Об этом см.: Minakov M., Isachenko D., Sasse G. (eds.). Post-Soviet Secessionism: Nation-Building and State-Failure after Communism. Stuttgart, 2021. С. 4 и далее.

дума в 1994 году. Формально меморандум предоставлял Беларусь, Казахстану и Украине гарантии безопасности в пределах их административных границ в обмен на частичную передачу России и частичное уничтожение советского ядерного арсенала на их территориях¹⁵¹. Неформально же меморандум закрепил взаимное признание границ новообразованных государств и положил конец поддержке Россией септицистских и непредентистских движений в постсоветских республиках¹⁵². Неформальная сторона договоренностей реализовалась, например, в том, что при поддержке Кремля украинское правительство вернуло контроль над Крымом, а также началась подготовка двусторонних договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками. Взаимное признание суверенности и границ позволило нормализовать отношения между возникшими постсоветскими государствами и вступить в интеграционные проекты нового поколения, где Россия была лишь одним из возможных партнеров наряду, например, с ЕС, НАТО, ГУУАМ¹⁵³ или Шанхайской организацией сотрудничества.

Либерально-демократический потенциал европейской интеграции

Самым важным интеграционным проектом для демократического творчества постсоветских народов было вступление в Совет Европы. Совет Европы является региональной международной организацией, членство в которой возможно при наличии в политико-правовых системах норм и правил, базовых для демократии и верховенства права. В 1993 году в Совет

¹⁵¹ Grant T. The Budapest Memorandum of 5 December 1994: Political Engagement or Legal Obligation? // Polish Yearbook of International Law. 2014. № 34. Стр. 89–114.

¹⁵² Minakov M. Shades of Periphery. С. 66 и далее.

¹⁵³ ГУУАМ, или Организация за демократию и экономическое развитие, — это региональная организация на постсоветском пространстве, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Узбекистаном, Азербайджаном и Молдавией в поддержку тесной интеграции с Западом без вмешательства России. Почти в самом начале Узбекистан вышел из организации, что привело к корректировке названия — ГУАМ.

Европы были принятые Литва и Эстония, в 1995 г. — Латвия, Молдова и Украина, в 1996 г. — Россия, в 1999 г. — Грузия, в 2001 г. — Азербайджан и Армения. Евроинтеграция поддерживала демократическую гармонизацию политico-правовых систем части постсоветских стран. Для еще меньшего числа государств региона евроинтеграция продолжилась в рамках ЕС и НАТО, обеспечивая этим странам-членам поддержку институциализации демократии, верховенства права и такой системы безопасности, которая не угрожала бы политическим свободам. В любой организационной форме евроинтеграция была лишь поддерживающим фактором: творческая инициатива исходила именно от граждан и сообществ стран-членов, хотя западные модели демократизации позволяли этим импульсам воплотиться и в менее хрупких практиках. Совет Европы и позже Европейский союз стали институтами-распространителями успешных моделей развития, в котором политические, гражданские и экономические свободы поддерживали друг друга.

Верховенство права

Слияние творческих импульсов из внутренних и внешних источников особенно заметно в становлении постсоветских конституционных и правовых систем. Первые реформы законодательства в постсоветских странах были связаны с введением нормативных подходов верховенства права к формированию, утверждению и исполнению законов, потеснивших практики и правовое воображение, принимавших позитивное право^{*} за основу¹⁵⁴. Первая волна написания, обсуждения и утвержде-

154 Этот аспект исследовали авторы специального номера журнала *Ideology and Politics Journal* (№ 2(18), 2021) — «Советское и постсоветское право: несостоившийся переход от социалистической законности к правовому государствству». Издание под редакцией Михаила Антонова и Дмитрия Вовка. Особенно стоит отметить следующие статьи: *Померанц У.* Россия и вечный поиск верховенства права: зарождение, отклонения, восстановление и тупик. Стр. 10–30; *Антонов М.* Юридический позитивизм и проблемы развития российского права. Стр. 121–152; *Барретт Т.* Олигархи и судьи: политическая экономия судов в постсоветских неконсолидированных демократиях. Стр. 259–292; *Вовк Д.*,

ния конституций новых государств в 1990–1994 годах была важнейшей частью государственного и национального строительства. Новые законодательства стали неотъемлемой частью постсоветской демократизации, поддерживая политические и экономические свободы, инкорпорируя права человека и нормы Совета Европы в национальные правовые системы, а также утверждая автономию судебной ветви власти.

Обобщающий результат этих политико-правовых процессов можно рассмотреть с помощью измерения Индекса верховенства права (см. график 3). Этот показатель является обобщенной оценкой того, насколько прозрачно, предсказуемо и одинаково исполняются законы, а также в какой степени действия чиновников соответствуют законам¹⁵⁵. Эстонский кейс представляет собой максимальный успех постсоветского становления верховенства права, поддержаный участием в Совете Европы, ЕС и НАТО. Кейсы РФ и Украины показывают, как введение принципа верховенства права в политико-правовую систему стало важным моментом для становления новых независимых государств и как позже этот институт был объектом давления со стороны авторитарных институтов. Узбекистанский кейс является примером того, как уже в середине 90-х ранние постсоветские правовые достижения пересматривались при концентрации власти президентским институтом. Во всех четырех кейсах видно, что принцип верховенства права стал практиковаться политиками и государственными деятелями в начале 90-х и либо усиливал демократические тенденции, либо становился объектом целенаправленного разрушения оснований демократии со стороны акторов, поддерживающих авторитарскую программу.

Барабаш Ю. «У судей есть политическое чутье». Юриспруденция Конституционного суда Украины в политически чувствительных делах. Стр. 314–335.

155 См.: Varieties of Democracy, n.d. URL: <https://www.v-dem.net/>.

Автономия судебной ветви власти

Важнейший элемент и разделения верховной власти, и следования принципу верховенства права — выведение судебной системы в отдельную автономную ветвь власти. Судебная власть формировалась в процессе эволюции советских судебных органов, их выхода из-под партийного контроля и перехода под контроль республиканских правительств. Хотя все постсоветские конституции устанавливают автономию судов, а в части случаев наделяют конституционные или верховные суды полномочиями «гарантов конституционных прав и свобод», в реальности чиновники (как представители исполнительной ветви) и законодатели вели непрекращающуюся борьбу за право назначать судей и контролировать суды¹⁵⁶.

Индекс «Судебные ограничения для исполнительной власти» позволяет рассмотреть в сравнительной перспективе то, насколько исполнительная ветвь власти соблюдала конституцию и выполняла решения суда, а также в какой степени судебная ветвь власти оказывалась способной действовать независимо (см. график 4). Как и в предыдущих индексах, эстонский и узбекистанский кейсы — радикально противопоставленные примеры успешной демократизации и ее провала в постсоветский период. Кейсы РФ и Украины свидетельствуют о том, как политico-правовые системы двух стран постепенно расходились: в случае России суды все более попадали под влияние исполнительной власти, а в случае Украины автономия судов увеличивалась в периоды демократизации (начало 1990-х, 2004–2010 гг. и после 2019 года) и уменьшалась в периоды попыток автократизации (с конца 1990-х до 2004 года, в период 2010–2018 гг.).

Выборы как право и практика

Еще одним важным продуктом постсоветского демократического творчества стал институт выборов. Выборы в советской

156 Барретт Т. Олигархи и судьи. С. 261.

политической системе имели важное ритуальное значение: поданные СССР демонстрировали свою лояльность и имитировали участие в смене элит, заполняя безальтернативные бюллетени. Участие в советских выборах было важной дисциплинирующей практикой именно в силу их имитационной природы: подчиняясь бессмысленному правилу выбирать без выбора, советский подданный демонстрировал властям и окружению свою благонамеренность и интернализировал* нормы и практики подчинения.

С началом постсоветской демократизации выборы и избираемость властей стали, возможно, самым важным признаком политической свободы. Первый опыт участия в свободных выборах для людей, живших в Советском Союзе, пришелся на 1989 год, когда шла конкурентная электоральная программа и был избран состав Верховного Совета СССР, начавший действовать в 1990 году. Хотя 750 мандатов все еще распределяло руководство КПСС, в том числе через подконтрольные «общественные организации», 1500 мандатов получили те, кто участвовал в публичных дебатах, общался с согражданами, успешно конкурировал с другими кандидатами и победил в достаточно непривычных обстоятельствах. Энтузиазм советских избирателей, характерный вообще для революционных моментов, в данном случае проявил себя в высочайшем уровне участия в выборах: к урнам пришли 89,8 процента взрослого советского населения. На этой электоральной кампании позднесоветское население училось выбирать своих представителей из множества, дискутировать с кандидатами и согражданами о преимуществах того или иного депутата или программы и ориентироваться в идеологическом разнообразии. Фактически речь шла о переизобретении как института выборов, так и института репрезентативного парламента и об активной ответственной гражданственности, публичной дискуссии, ведущей к перераспределению властных полномочий. Все это было в новинку для советского населения и позже

стало важнейшим опытом для переустройства постсоветских государств в 1990-х годах.

Опыт свободного политического участия повторился — и закрепился — в 1990 году, когда прошли выборы в республиканские Верховные Советы. Несмотря на все еще существовавшие в СССР законодательные препоны для многопартийности, в этих выборах участвовали партийные организации, блоки и движения, предложившие населению не только отличие мнений и кандидатов, как это было в 1989 году, но и партийные программы с четкими различиями в идеологической ориентации. Выбирали уже не просто депутата, а политическую силу, с которой избиратель разделял идеологические положения и договаривался о представительстве своих интересов в правительстве. Как я указывал выше, именно эти Верховные Советы привели республики к независимости, разделили исполнительную и законодательную ветви власти, а также запустили трансформацию в рамках постсоветской тетрады.

В дальнейшем избирательный элемент демократии стал самым сильным институтом, влияющим на «неконтролируемую ротацию властных элит» (что отчасти выжило даже в странах, управляемых постсоветскими авторитарными режимами в 2010-х годах). Как видно из графика 5, в нашей выборке четырех страновых кейсов признание важности выборов демонстрируется постоянным значительным (50 процентов и более) участием избирателей во всех выборах президентов и парламентов. Стоит отметить, что выборы президентов, как правило, привлекают больше избирателей, чем парламентские выборы; это видно по паттерну явки в российском, украинском и узбекистанском кейсах. Эстонский кейс свидетельствует, что участие в выборах национальной легислатуры стабильно выше, чем в Европейский парламент.

Выборы стали важнейшим демократическим институтом в постсоветских политических системах. С помощью обобщенных данных Индекса избирательной демократии в постсоветских странах можно увидеть становление и за-

крепление этой важности в постсоветский период. Электоральный принцип демократии стремится поставить правителей под контроль граждан конкуренцией за их одобрение электоратом. Сам же принцип нуждается в том, чтобы были созданы условия, при которых: 1) избирательное право является всеобъемлющим; 2) политические организации и объединения граждан могут действовать свободно; 3) свобода слова и независимые СМИ способны представить альтернативные точки зрения по вопросам, имеющим политическое значение; 4) выборы не омрачены систематическими нарушениями и 5) определяют состав руководства исполнительной и законодательной ветвей власти в стране¹⁵⁷. Как показывает график 6, с 1993 года электоральная демократия в Эстонии имеет стабильно максимальные значения, а в Узбекистане — стабильно минимальные. В случае России до начала правления Владимира Путина этот компонент был значимым, а в XXI веке постоянно снижался, достигнув своего минимума в последние девять лет. В Украине электоральная демократия переживала расцвет в первую половину 1990-х, в период с 2004 по 2010 год и с 2019 года, перемежаясь недолгими периодами упадка политических свобод.

Демократия как единство избирательных, правовых и делиберативных практик

Можно также сравнить электоральный компонент с двумя другими ключевыми компонентами демократии — либеральным и делиберативным* (см. график 7). Либеральный принцип демократии подчеркивает важность защиты прав личности и меньшинства от тирании государства и большинства. Показатель либеральной демократии измеряет демократическое качество правления по ограничениям, наложенным на правительство, что достигается конституционно защищенными гражданскими свободами, сильным верховенством

¹⁵⁷ Об определении сбора данных для этого показателя см.: Varieties of Democracy.

закона, независимой судебной системой и эффективными механизмами сдержек и противовесов. В то же время Индекс делиберативной демократии фокусируется на процессе, посредством которого принимаются решения в государстве. Совещательный процесс (делиберация) — это процесс, в котором общественные дискуссии об общем благе мотивируют политические решения и отличаются от эмоциональных призывов, идентичностной солидарности или других способов принуждения граждан или меньшинств к повиновению властям или большинству. Согласно этому принципу, демократия требует уважительного диалога между информированными и компетентными участниками, открытыми для аргументации друг друга¹⁵⁸.

Данные по этим трем базовым показателям демократии свидетельствуют, что во всех четырех страновых кейсах, какой бы уровень свободы ни был и насколько бы устойчивой ни была форма правления в конкретной стране, электоральный компонент был более значимым, чем либеральный и делиберативный компоненты.

Стоит отметить, что граждане постсоветских стран видят в выборах не только политическую прагматику, но и приписывают им морально-политическую значимость, что отличает постсоветские политические культуры от других, в том числе западных демократий. Выборы не только проводили не контролируемую правящими группами ротацию элит в представительских органах власти и в центральных и местных советах, но и воображались постсоветскими обществами как процесс «морального обновления власти». Весь электоральный процесс — от выдвижения до подсчета голосов — имел значение (зачастую вопреки непосредственному опыту его участников) иногда морального выбора между добром и злом или чаще между большим и меньшим злом. Подрыв доверия к результатам выборов на всем протяжении постсоветского периода в боль-

158 Там же.

шинстве стран мог спровоцировать массовые протесты и привести к смене режима. Именно этот морально-политический аспект можно назвать в числе основных причин, приведших к цветным революциям в Грузии (2003), Украине (2004), Киргизстане (2005, 2010) и Армении (2018). Он же заметен и в протестных движениях в Молдове (2009), России (2011) или Беларуси (2015, 2020)¹⁵⁹.

Постсоветское демократическое творчество увязывало воедино выборы, смену правящих групп, возможность свободного обсуждения политически значимых вопросов и легитимность режимов. Отказ от советского опыта был связан с выходом политических дискуссий «из кухонь» в публичное пространство, структурированное в виде свободных СМИ и платформ для академического и культурного самовыражения. Обобщение и измерение постсоветского опыта создания институтов и платформ, поддерживающих выражение мнений и обмен ими, возможно с помощью Индекса свободы выражения мнений и альтернативных источников информации. Этот индекс оценивает, в какой степени правительство уважает свободу прессы и СМИ, свободу отдельных граждан обсуждать политические вопросы в публичной сфере, а также свободу академического и культурного самовыражения. Как показано на графике 8, в Эстонии и Украине институты и платформы обеспечивали значительный уровень уважения властей к свободе прессы и обсуждений на всем протяжении постсоветского периода. В России путинский режим постепенно сворачивал возможности свободного и аргументированного общественного диалога. Эти же возможности были свернуты в начале 1990-х годов в Узбекистане, однако в 2016–

159 Об этом см.: *Tucker J. A. Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions // Perspectives on Politics.* 2007. № 5(3). Стр. 535–551; *Mitchell L. A. The Color Revolutions.* Philadelphia, 2012; *Minakov M. The Protest Movements' Opportunities and Outcomes: The Euro-maidan and the Belarusian Protest–2020 Compared // Protest.* 2022. № 1(2). Стр. 272–298.

2017 годах политически режим сделал некоторые послабления в этой части, что, впрочем, не отвечает базовым потребностям демократии.

В условиях конкурентных выборов, разделенных ветвей власти и свободы дискуссий могли развиваться идеологическое разнообразие и гражданственность как соответствующие логике политического участия разных гражданских групп и отдельных граждан в принятии решений. Неоднородность, непохожесть мнений, групп и позиций за короткое время стали общепринятой нормой. Относительно 90-х годов можно даже говорить о своего рода излишке разнообразия, которое начало утомлять и пугать население новых государств и приводило либо к поддержке реакционных властных групп, либо к политическому эскализму. Тем не менее на всем протяжении постсоветского периода политические свободы оставались значимыми для новых государств, и попытки их ограничения время от времени приводили к массовым движениям в поддержку демократии. Так, например, данные Индекса мобилизации в поддержку демократии (см. график 9) позволяют показать, что во всех четырех страновых кейсах периодически возникали массовые движения в поддержку гражданских свобод. Мало того, мобилизация в поддержку свободных и честных выборов, независимых судов и парламентов, свободы ассоциаций и слова имела общий региональный ритм. Пики общей региональной продемократической мобилизации заметны в 1989–1993, 2004–2008, 2011–2015 и 2018–2020 годы.

Мобилизация в поддержку политических свобод в странах с уровнем демократии, как в Эстонии, обычно была умеренной, поскольку политические институты направляли энергию гражданских движений в сторону участия в принятии решений без угрозы для государственного строя. Однако массовые продемократические движения в авторитариях России и Узбекистана представляли прямую угрозу режимам и отчасти государственному строю. Украинский кейс показывает, как в гибридных политических системах (а кроме Украины, к таким

можно отнести Грузию и Молдову, а также Армению в последние пять–шесть лет), которые переживали периоды укрепления состояния свободы и периоды демократического упадка, продемократическая мобилизация вовлекала граждан в творческие политические процессы, а те приводили к увеличению пространства свобод и возвращению режимов к выполнению базовых конституционных прав.

Во многом постсоветское демократическое творчество было связано с постепенным ростом роли сложного и влиятельного гражданского общества на национальном и местном уровнях. Сфера гражданского общества находится в публичном пространстве между приватной и публичной сферами, или, как это описывали Джин Л. Коэн и Эндрю Арато, в сотрудничестве и противостоянии с политическим обществом, движимым борьбой за власть, и экономическим обществом, структурированным конкуренцией за прибыль. В такой модели гражданское общество — это совокупность объединений граждан (группы интересов, объединения активистов, местные сообщества, профсоюзы, религиозные организации, если они занимаются общественной или политической деятельностью, общественные движения, профессиональные ассоциации, благотворительные организации и др.) для реализации своих коллективных интересов и продвижения своих идеалов, имеющих смешанную природу, связанную с публичными, приватными, групповыми, властными и даже экономическими интересами и институтами¹⁶⁰.

Организации гражданского общества можно условно поделить на две большие категории: традиционные и современные. К традиционным относятся территориальные и религиозные общины, малые этнические сообщества, связанные

160 См.: Cohen J. L., Arato A. Civil Society and Political Theory. Boston, 1994. С. 12 и далее; сравни с: Minakov M. The Third Sector Entering the First: Cooperation and Competition of Civil Society, State and Oligarchs after Euromaidan in Ukraine / R. Marchetti (ed.) // Government–NGO Relationships in Africa, Asia, Europe and MENA. London, 2018. Стр. 123–144. С. 124 и далее.

с социально-политическими интересами, а к современным — негосударственные и некоммерческие организации, профсоюзы и благотворительные фонды. Соответственно постсоветской специфике организации гражданского общества обеих категорий переживали ренессанс одновременно, внося свою лепту в выстраивание горизонтальных социальных структур и создавая общественный запрос на свободу совести и религий, на системное участие активных граждан в дополнительном контроле за органами власти. Например, контроль за выполнением законов и процедур парламентами и правительствами, избирательными комитетами и органами, отвечающими за использование бюджетных средств, пенитенциарной системой и комитетами по лицензированию СМИ и т.д. В большинстве случаев такой гражданский контроль осуществляли организации, получившие в постсоветском канцеляриите названия негосударственных или некоммерческих (НГО или НКО). Кроме того, многими другими социально значимыми публичными интересами — поддержкой бедных, защитой прав наемных работников, борьбой с алкоголизмом и наркоманией, охраной дикой природы — занимались благотворительные фонды, профсоюзы и неформальные группы активистов.

Базовый индекс гражданского общества позволяет посмотреть на постсоветскую демократизацию сквозь призму устойчивости и влиятельности гражданского общества на публичную и приватную сферы.

Согласно данным графика 10, во всех четырех страновых случаях рост влияния организаций гражданского общества отмечается с 1990 года, однако уже в 1991–1993 годы происходит дифференциация. В устойчивой демократии (эстонский кейс) с сильным участием европейских структур влиятельность гражданского общества является стабильно высокой. В устойчивой автократии (узбекский кейс) гражданское общество находится под постоянным прессингом правительства, однако в моменты смены автократов открывается некоторое пространство для влияния объединений граждан. В случаях

РФ и Украины очевидно, что демократизация сопровождается ростом влиятельности организаций гражданского общества, но в периоды упадка демократии эти организации теряют значение или попадают под управлениеластных групп.

Для организаций гражданского общества в постсоветских странах характерна взаимосвязь политического творчества местных сообществ, советского опыта и западных моделей. Например, местные сообщества и профсоюзы в постсоветский период зачастую пытались применить советский опыт к новым политическим и социально-экономическим реалиям и по большей части оказывались маловлиятельными элементами постсоветской демократизации и маркетизации. В то же время НГО/НКО — воплощение новой специфической организационной и культурной формы, где различаются правление и администрация, где проектно-грантовая логика вводит инструменты эффективности и подотчетности перед донорами, основателями и перед сообществами, в чьих интересах работают эти организации, — были связаны с опытом не советским, а с применением западных моделей. Успешные НГО/НКО могли иметь источники финансирования внутри своей страны и извне¹⁶¹,

161 В последние тридцать лет для поддержки постсоветских гражданских организаций на Западе, а потом и Юге была создана целая инфраструктура. Такие международные и государственные организации, как Программа развития ООН, Всемирный банк, Агентство США по международному развитию (USAID), Канадское агентство международного развития (CIDA), Британский совет, Шведское агентство международного развития (SIDA), Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) и многие другие, делились проектно-организационной культурой и предоставляли финансовые средства для НГО/НКО в Беларуси, России, Узбекистане, Украине и других постсоветских странах начиная с 1990-х годов. Также в регионе активно действовали приватные фонды (например, сеть фондов Института «Открытое общество», основанного Джорджем Соросом) и специальные организации-посредники (например, Фонд «Евразия», «Кемоникс» и т.п.) между западными правительствами и местными организациями. Такое сотрудничество в начале 1990-х было легитимировано целым рядом межправительственных договоров о сотрудничестве и развитии, но позже вышло далеко за их пределы. В периоды демократизации это сотрудничество не вызывало противодействия местных правительств, а в моменты авторитаризации правящие элиты постсоветских режимов вводили ограничения для внешнего финансирования гражданских

а также определенную степень влияния на государственные органы до такой степени, что превращались в энкаократов¹⁶². Олигархические кланы активно развивали свои структурные подразделения, имитирующие организации гражданского общества, — благотворительные фонды, общественные аналитические центры и прочие НКО, формально зарегистрированные правительством как гражданские организации¹⁶³. В моменты же упадка демократии и авторитарных разворотов НГО/НКО подвергались системной дискриминации и запретам, как в Узбекистане с середины 1990-х или в России с 2011 года¹⁶⁴.

Таким образом, оглядываясь назад, можно с уверенностью говорить, что с точки зрения демократического политического творчества постсоветский период был временем опыта свободы для всех стран региона, а зачастую еще и долговременным

организаций. Примеры последнего — запреты на работу доноров в Таджикистане и Узбекистане в 1998–2001 годах или репрессии против «иноагентов» в России, начавшиеся в 2012–2013 годах и достигшие пика к 2019–2023 годам. В постсоветских странах распространялись также политические верования, что многие НГО/НКО служат интересам своих доноров, а не общества. Об этом см.: *Sundstrom L. M. I. Funding Civil Society: Foreign Assistance and NGO Development in Russia*. Stanford, 2006; *Uhlir A. Post-Soviet Civil Society: Democratization in Russia and the Baltic States*. London, 2006; *Atlani-Duault L. Humanitarian Aid in Post-Soviet Countries: An Anthropological Perspective*. London, 2008; *Silitski V. "Survival of the Fittest": Domestic and International Dimensions of the Authoritarian Reaction in the Former Soviet Union Following the Colored Revolutions* // *Communist and Post-Communist Studies*. 2010. № 4. Стр. 339–350; *Hemment J. Nashi, Youth Voluntarism, and Potemkin NGOs: Making Sense of Civil Society in Post-Soviet Russia* // *Slavic Review*. 2012. № 2. Стр. 234–260; *Kudlenko A. From Colour Revolutions to the Arab Spring: The Role of Civil Society in Democracy Building and Transition Processes* // *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*. 2015. № 2–3. Стр. 167–179.

¹⁶² *Lutsevych O. How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine*. London, 2013. C. 3.

¹⁶³ См.: *Puglisi R. The Rise of the Ukrainian Oligarchs* // *Democratization*. 2003. № 3. Стр. 99–123; *Minakov M. Republic of Clans / B. Magyar (ed.)* // *Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes*. Budapest, 2019. Стр. 217–245.

¹⁶⁴ См. подробнее об этом: *Gilbert L., Mohseni P. Disabling Dissent: The Colour Revolutions, Autocratic Linkages, and Civil Society Regulations in Hybrid Regimes* // *Contemporary Politics*. 2018. № 24(4). Стр. 454–480; *Heiss A. NGOs and Authoritarianism / T. Davies (ed.)* // *Routledge Handbook of NGOs and International Relations*. London, 2019. Стр. 557–572.

опытом, способным кристаллизоваться в социальных институтах и практиках и закрепиться в политических культурах и системах. Несколько поколений людей, живших в странах Восточной Европы и Северной Евразии, смогли реализовать свой потенциал для построения институтов политической свободы. Произведениями демократического творчества стали: 1) новые государства с разделенными ветвями власти; 2) политico-правовые системы, ориентированные на верховенство права; 3) сильные парламенты, избранные на конкурентных выборах с постоянной вовлеченностью более половины избирателей; 4) суды, которые были более автономными, чем в советское время; 5) многопартийные системы с заметным идеологическим плюрализмом; 6) свободные СМИ и 7) влиятельное гражданское общество. Значительную часть постсоветского периода политическая свобода и демократия вдохновляли отдельных граждан, политические группы и целые народы региона на активное участие в закреплении институтов и практик политической свободы, опирающихся на местный и западный опыт.

Автократические результаты постсоветского политического творчества

Постсоветский период действительно был временем расцвета политического творчества. Но оно имело не только демократическое, но и авторитарное и даже автократическое качество. Многие индивиды и сообщества тратили свой политический творческий потенциал на институты и практики, далекие от демократии или прямо враждебные ей.

В предыдущей главе мы рассмотрели, как политическое творчество постсоветских народов трансформировало политические и социальные структуры позднесоветского периода в процессе демократизации. В этой главе обратим внимание на то, как ту же креативность инвестировали в достижения автократического характера. Подобные институциональные достижения — тип коллективного действия, исходившего из приоритетов, отличных от политической свободы и гражданской

эмансипации. Как правило, выбор в пользу автократических практик оказывался связанным со стратегиями выживания отдельных индивидов, семей и сообществ в условиях глубочайшего социально-экономического кризиса 90-х годов и реакции на него. Эту реакцию Наталья Панина и Евгений Головаха справедливо назвали «социальным безумием»¹⁶⁵. Основатели постсоветских государств и их политico-правовых и социально-экономических систем действовали в условиях полной непредсказуемости и институционального хаоса. Их политические воля и воображение, связанные с идеями, моделями и практиками посткоммунистической тетрады, вели к демократическим преобразованиям. Однако основатели современных Эстонии и России, Украины и Узбекистана действовали не только в атмосфере демократического энтузиазма в столицах, но и депрессии на перифериях, распространения идей национальной исключительности и ксенофобии среди элит и масс, быстрого и жесткого обнищания еще недавно «советского среднего класса», волн криминальной революции и войны всех против всех в условиях первичного накопления капитала¹⁶⁶. Все это предпосылки и для творчества, враждебного по отношению к свободе, и для креативности свободы.

В конце XX века многие регионы мира двигались к возникновению «обществ риска». Но в постсоветских странах, домохозяйства которых между 1990 и 1996 годами жили в условиях гиперинфляции и ежегодно теряли от 10 до 30 про-

¹⁶⁵ Головаха Е., Панина Н. Социальное безумие: история, теория и современная практика. Киев, 1994. С. 8.

¹⁶⁶ См.: Round J., Williams C. Coping with the Social Costs of “Transition”: Everyday Life in Post-Soviet Russia and Ukraine // European Urban and Regional Studies. 2010. № 2. Стр. 183–196; Kupatadze A. Organized Crime, Political Transitions and State Formation in Post-Soviet Eurasia. New York, 2012; Pain E. Xenophobia and Ethnopolitical Extremism in Post-Soviet Russia: Dynamics and Growth Factors // Nationalities Papers. 2007. № 5. Стр. 895–911; Shnirelman V. Race, Ethnicity, and Cultural Racism in Soviet and Post-Soviet Ideology, Communication, and Practice // Oxford Research Encyclopedia of Communication. January 2023. URL: <https://tinyurl.com/2xpsf695>.

центов доходов¹⁶⁷, уже в начале 90-х на долгое время установилось травмирующее состояние «общества сверхриска»¹⁶⁸. В этом состоянии — назовем ли мы его безумием или сверхриском — резкое падение качества жизни и отсутствие социальной и даже биологической безопасности заставляли огромную часть новых обществ инвестировать свой творческий потенциал в выживание (см. графики 11 и 12).

Быстрый переход из советской предсказуемости к постсоветскому социальному хаосу был одновременно и возможностью, и вызовом для более двухсот восьмидесяти пяти миллионов человек, чье будущее определялось постсоветским транзитом. Цезура 1989–1991 годов позволяла порвать с советской длительностью и открывала возможности для построения новых социальных миров. Эти возможности и вызовы, с одной стороны, позволяли выйти из советского травмирующего состояния. Но этот выход сам по себе был не менее травмирующим. Постсоветское политическое творчество определялось не только противоречивым и болезненным набором проблем прежнего советского опыта, проговоренных в перестроечных дискуссиях и нашедших выход в национальных и демократических движениях, но и новой — постсоветской — травмой. Ужас перед миром, открывшимся после конца «советской вечности»¹⁶⁹, создавал своеобразный спрос не только на демократию, но и на автократию. Культурно-антропологический тип советского человека не выдерживал испытаний свободой и риском, довольно быстро — и часто — превращаясь в постсоветского «потребителя услуг диктатуры», способной защитить потребителя от него самого, участвующего в этнических

¹⁶⁷ См.: график 11, а также: *Aslund A. How Capitalism Was Built.* C. 45 и далее.

¹⁶⁸ См.: *Beck U. From Industrial Society to the Risk Society: Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment // Theory, Culture & Society.* 1992. № 1. Стр. 97–123; *Adam B., Van Loon J., Beck U. The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory.* London, 2000.

¹⁶⁹ Этую вечность особенно хорошо описал Алексей Юрчак в: *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2016.

погромах, клерикализации, криминальной революции и в социальной атомизации. Значительные социальные группы требовали от постсоветских правительств опеки и готовы были отказаться от внезапно пришедшей свободы¹⁷⁰.

Единая верховная власть и неопатrimonиальное правление

Пожалуй, самым заметным актом авторитарного творчества стала «невидимая поправка», вносимая в постсоветское государственное строительство. Разделение ветвей власти, а также размежевание полномочий центральных и местных правительств были важными элементами демократического творчества. Однако его дополняло автократическое творчество, инвестированное огромную социальную энергию в неформальные институты и практики. На стыке демократизации и маркетизации реализовалась модель так называемого «малого правительства»: государство не только теряло единство верховной власти, но еще и радикально сокращало свое присутствие в экономической и социальной сферах¹⁷¹. Государство оставалось важным игроком в политике, нациестроительстве и в ключевых секторах публичной администрации, важным, но не единственным. А в приватной сфере государство исчезало, меняя привычный политico-культурный ландшафт Восточной Европы и Северной Евразии. Возникающий вакуум власти заполняли неформальные структуры, позже названные олигархическими кланами, «неопатrimonиальным правлением», «патрональными пирамидами» или организациями «мафиозного государства»¹⁷². Эти структуры возвращали постсоветскому

¹⁷⁰ См.: Гудков Л. Возвратный тоталитаризм. В 2 т. М., 2022.

¹⁷¹ Об этой стратегии см., например: Collier S. J. Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics. Princeton, 2011.

¹⁷² Об этом см.: Ledeneva A. Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge, 1998; Fisun O. Rethinking Post-Soviet Politics; Magyar B. Post-Communist Mafia State; Hale H. E. Patronal Politics.

политическому порядку некоторую устойчивость и эффективность в условиях социального хаоса.

Возникающие постсоветские правительственные и политические институты нуждались в социальной опоре, которая оформилась в виде слаженных групп, чья солидарность базировалась на неформальных персональных отношениях, и эти отношения имели значительно больший вес, нежели формальные правила и полномочия. Взаимоотношения формальных и неформальных институций и организаций можно поделить на два типа — эффективные и неэффективные с точки зрения выполнения функций и целей формальной публичной власти. В тех случаях, если формальные и неформальные институции взаимодействовали, они повышали эффективность формальных институтов. Если же формальные и неформальные институты противоборствовали, они подрывали эффективность друг друга, приводя ко взаимному ослаблению. Существовала возможность и того, что в случае большей эффективности неформальных институтов они побеждали в конкуренции и подчищали формальные структуры своим интересам¹⁷³. Тогда речь идет о «захваченных государствах», попавших в ситуацию коррупции на высшем уровне, или «системной коррупции»¹⁷⁴.

Неформальные структуры подрывали эффективность формальных публичных институций, в том числе связанных с демократией и верховенством права. Доминирование неформальных структур превращало государство в систему властных и имущественных отношений, где демократический фасад прикрывал интересы «теневого государства». В «тени» постсоветских стран обитали кланы, условно усыновленные политические семьи (*adopted political families*), со своей

¹⁷³ Больше об этой матрице взаимодействия между формальными и неформальными институтами см.: Helmke G., Levitsky S. Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda // Perspectives on Politics. 2004. № 4. Стр. 725–740.

¹⁷⁴ Об этих терминах подробнее см.: Reducing Grand Corruption in Ukraine: Several EU Initiatives, But Still Insufficient Results. A Special Report — European Court of Auditors. Brussels, 2021; Lough J. Ukraine's System of Crony Capitalism. The Challenge of Dismantling "Systema". London, 2021.

персоналистической логикой взаимоотношений и солидарностью, основанной на опыте совместных нелегальных действий. Кланы были неформальными устойчивыми организациями, преодолевавшими границы ответственности ветвей власти и создававшими параллельные властные иерархии, так называемые вертикали власти, включавшие представителей президентских администраций, кабинетов министров, парламентов, судов, региональных и местных органов самоуправления, СМИ, криминальных групп и организаций гражданского общества¹⁷⁵. В постсоветском контексте кланы объединяли сильных творческих личностей и одновременно социопатов, использовавших хаос 1990-х не только для выживания, но и для личного обогащения, произраставшего из подчинения себе «потоков» из государственного бюджета, приватизации советского индустриального наследия, а также приватизации постсоветских формальных институтов.

Постсоветская автократизация могла идти не только путем прямой диктатуры (как в среднеазиатских странах или Беларуси со второй половины 90-х годов), но и олигархизации (как в России или Украине в то же время). Как показывают графики 6 и 7, в украинском и российском кейсах олигархизация, то есть установление кланового контроля за ключевыми публичными институтами и экономическими секторами, достигает пика влияния к концу 90-х годов и запускает процесс собственно демократического упадка и автократизации. После того как госструктуры оказались под влиянием нескольких кланов, эти группы, организованные в патрональные пирамиды, стали бороться за доминирование во всей стране, то есть за установление правления одной пирамиды. Для постсоветских обществ, которые прошли далеко в демократизации в 90-х, но не получили сильной внешней поддержки европейских и евроатлантических структур (как в случае эstonского кейса), к началу XXI века автократизация стала общим трендом.

175 Подробнее об этом см.: Minakov M. Republic of Clans. С. 240.

Массовые протесты цветных революций остановили автократический региональный тренд в ряде стран и вернули к жизни полиархию. В этом контексте именно в 2003–2005 годах в Восточной Европе и Северной Евразии закрепилось расслоение на устойчивые либеральные демократии (Эстония, Латвия и Литва), неустойчивые полиархии, где периоды демократизации сменялись периодами автократизации (Украина, Грузия, Кыргызстан и Молдова), и устойчивые автократии (Россия, Азербайджан, Беларусь, четыре среднеазиатских страны)¹⁷⁶.

Азербайджан и среднеазиатские страны (кроме Кыргызстана) установили авторитарные режимы и выбрали путь автократий уже к 1995 году, поставив под жесткий контроль политическое творчество своего населения. Тут демократический и исламистский порывы уступили диктатурам разного уровня жесткости, от просвещенного авторитаризма Нурсултана Назарбаева (правил в Казахстане в 1990–2019 гг.) и Гейдара Алиева (правил в Азербайджане в 1969–1982 и 1993–2003 гг.) до почти тоталитарной диктатуры Сапармурата Ниязова (правил в Туркменистане в 1990–2006 гг.). Персоналистские режимы этих стран инвестировали политическую творческую энергию своих народов в новые авторитарные институты. Они использовали логику вертикального «общественного договора», предлагавшего населению подконтрольных территорий «реальную стабильность» политического порядка в обмен на «эфемерные права и свободы».

Авторитарные режимы Александра Лукашенко (правит с 1994 года) и Владимира Путина (правит с 2000 года) установились уже после обретения белорусами и россиянами опыта построения жизни при демократии и рыночных отношениях. И рынок, и демократия, а в случае Беларуси еще

¹⁷⁶ Из этой классификации отчасти выпадают Армения и Кыргызстан. Армения в 2018 году перешла из лагеря автократий к неустойчивым полиархиям. Кыргызстан является неустойчивой автократией, где массовые протесты несколько раз меняли режимы, но не затрагивали политическую систему.

и национальное государство довольно специфичны и, мягко говоря, далеки от их идеалов, но они определяли и судьбы отдельных людей, и общественное развитие. Лукашенко воспользовался общим недовольством населения «рыночно-националистическими перекосами» начала 90-х и трансформировал нарождающуюся национальную демократию Беларуси в авторитарную политическую систему уже к 2001–2003 годам, не допустив возникновения стабильных олигархических кланов. С тех пор государственное строительство в Беларуси шло быстро и эффективно в рамках персоналистского авторитарного режима, значительно обгоняя национальное строительство и не допуская образования неформальных властных структур, кроме собственно семейного клана Лукашенко. Режим Лукашенко и те институты и практики, которые определяли его эффективность, стали источником вдохновения для целого поколения постсоветских автократов и порой делали белорусского лидера популярной фигурой и в России, и в Украине вплоть до 2020-х годов¹⁷⁷.

В то же время путинский режим развивался как авторитарный и автократический проект, использующий социальную реакцию на негативные процессы, сопровождавшие демократизацию и становление рынка в России. Как и в позднем СССР, демократизация России происходила с одновременным ростом национальных движений, принимавших иногда программу сепаратизма (например, в Татарстане или Башкортостане) или даже сецессионизма (например, в Чечне и, шире, на всем Северном Кавказе). Дисбалансы жестокого постсоветского капитализма привели к быстрому становлению олигархии в России, выразившемуся не только в экономическом росте

¹⁷⁷ См.: Карпа Д. Міф про Лукашенка: як змінювалося ставлення українців до білоруської влади // Європейська правда. 23 червня 2021. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/06/23/7124628/>; Астахова С. Белоруссия и Россия: 20 лет интеграции // Россия и новые государства Евразии. 2020. № 1. Стр. 53–69; Шрайбман А. Феномен белорусской государственности. Что ждет систему Лукашенко // Carnegie Endowment for International Peace. Май 2017 г. URL: <https://carnegieendowment.org/2017/05/31/tu-pub-70099>.

или возникновении новых секторов народного хозяйства, но и в таких постыдных событиях и явлениях, как две чеченские войны, «семибанкирщина», президентские выборы 1996 года и финансовый кризис 1998 года. Чеченские войны «решили» проблему сепаратизма ценой жизни погибших граждан, множества жутких террористических актов, военных преступлений, уничтожения зачатков федерализма, возникновения социального запроса на авторитарную политику и легитимацию лидеров из рядов спецслужб¹⁷⁸.

Путинский общественный договор начала 2000-х предложил россиянам социально-консервативный мир, основанный на значительном ограничении политических свобод граждан и олигархов в обмен на значительный доход домохозяйств* и физическую защиту граждан от криминала и войны (см. графики 11 и 12). Путину удалось трансформировать политическую систему РФ, уничтожив патрональные пирамиды ельцинской эпохи или вобрав их элементы в одну властную вертикаль, во главе которой стояло путинское окружение. Владимир Путин использовал запрос граждан на борьбу с олигархией, который вполне мог стать основой для совершенствования системы верховенства права и либеральной демократии, для утверждения режима совершенно иного качества. После показательных антиолигархических репрессий 2003–2006 годов российские олигархи потеряли собственно политическое значение, что позволило Путину и его окружению приступить к утверждению автократии¹⁷⁹. Впрочем, приняв «вертикальный общественный договор» с Путиным, граждане уже не могли его пересмотреть. После мирового финансового кризиса 2008 года путинский общественный договор едваправлялся с обеспечением задания

178 Еще до прихода Владимира Путина к власти оказались Евгений Прикамов (глава КГБ и СВР в 1991–1996 годах, премьер-министр РФ в 1998–1999 годах) и Сергей Степашин (глава ФСБ в 1994–1995 годах и премьер-министр РФ в 1999 году).

179 Shevtsova L. Russia: Lost in Transition: The Yeltsin and Putin Legacies. Washington, 2007; Petrov N., Lipman M., Hale H. E. Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance: Russia from Putin to Putin // Post-Soviet Affairs. 2014. № 1(30). Стр. 1–26.

по доходу домохозяйств, а с началом войны против Украины в 2014 году Кремль потерял возможность обеспечивать и физическую безопасность своих граждан. Хотя «крымский синдром» ненадолго легитимировал путинский режим, но его влияние уменьшилось уже к 2017 году, а военные неудачи войны 2022 года развеяли туман, скрывавший факт отмены договора, приведшего Владимира Путина к власти в начале 2000-х.

На примерах Беларуси и России видно, что автократия — результат не только усилий элит, но и посильного участия многих разных сообществ. При поддержке «верхов» и «низов» автократическое творчество было нацелено на слияние раздельных ветвей в единой верховной государственной власти и на подрыв институтов, обеспечивающих систему сдержек и противовесов. Президенциализм — идеальный институт для достижения этой цели. Институт президента был изобретен Михаилом Горбачевым в его попытках выйти из-под власти ЦК КПСС в 1989–1990 годах и усовершенствован в 1990–1992 годах президентами советских республик. Постсоветские президенты, которые одновременно претендовали на роль главы исполнительной власти (вступая в институциональный конфликт с полномочиями глав правительства), верховного главнокомандующего, распорядителя делами неформальных структур патрональной пирамиды, «гаранта конституции» и «главы государства» (что бы это ни значило), были источником угроз для политических свобод граждан всех постсоветских государств и источником же надежд для тех, кто считал лучшим возвращение к государству под управлением единой верховной власти¹⁸⁰. В переизобретении верховного правителя (президента) и ведомого им «эффективного государства» поли-

180 О постсоветском президенциализме см.: Минаков М., Милованов Т. Опасный пост № 1. В чем изъян постсоветского института президента // Vox Ukraine. 14.06.2016. URL: <https://voxukraine.org/ru/opasnyi-rgervui-post-ru/>; Парламент У. Постсоветские политические режимы: вектор изменений — постсоветское суперпрезидентство // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 3. Стр. 103–123.

тическое творчество народов Восточной Европы и Северной Евразии зачастую воспроизводило давнюю модель «единой и неделимой» государственной власти — «общее политическое наследие» постсоветских обществ¹⁸¹.

Следует отметить, что наши сегодняшние исследовательские инструменты несовершенны, поскольку они исходят из интереса к демократии и направлены в основном на определение ее качества. Но успех авторитарного творчества тоже можно измерить. Например, сделать это с анализа того, как развивалось неопатриотиальное правление (см. график 13) и подавлялась автономия других ветвей власти, в особенности судебной (по данным графиков 2 и 4).

Индекс неопатриотиального правления указывает, в какой степени то или иное правление основано на личном авторитете правителя. Изучая неопатриотиальное правление, мы фактически рассматриваем, как персоналистские формы контроля пронизывают формальные институты и формируют режим, в котором сочетаются патрональные политические отношения, неограниченная власть президентов и использование государственных ресурсов для их политической легитимации¹⁸². Индекс неопатриотиального правления построен на обобщении 16 показателей, оценивающих соотношение патронализма и клиентелизма*, реальную власть президента и глубину коррупции определенного политического режима. Низкие показатели графика 13 указывают на более демократичную ситуацию, а более высокие — на менее демократичную.

На графике 13 представлен путь, который прошел неопатриотиализм в четырех постсоветских странах и обусловил быструю автократизацию в Узбекистане и постепенную автократизацию в России. Украинский случай более сложный

¹⁸¹ Pomeranz W. E. How “The State” Survived the Collapse of the Soviet Union // Kennan Cable. 2016. № 18. Стр. 1–9.

¹⁸² Об измерении см.: V-Dem Methodology. О неопатриотиальном правлении см.: Clapham C. S. Third World Politics: An Introduction. Madison, 1985; Fisun O. Rethinking Post-Soviet Politics.

и неравномерный: тут периоды укрепления неопатриотического правления сменялись благодаря массовым демократическим движениям в 2004-м и 2013–2014 годах частичным отступлением автократизации. И лишь в Эстонии, где парламентская демократия оставалась сильной весь постсоветский период, фактор неопатриотизма был устойчиво незначительным.

Если же мы сравним эти данные с данными графиков 2 и 4, которые демонстрируют, как легислатура и судебная власть сохраняли свою независимость от исполнительной власти, то можно увидеть некоторую закономерность. В периоды демократизации эти две ветви власти ограничивали злоупотребление формальными и неформальными возможностями президентов и глав исполнительной власти, а в периоды автократизации заметно исчезновение или системная дисфункция системы сдержек и противовесов. При формальном сохранении разных ветвей власти и их органов в постсоветском контексте неопатриотическое правление находило эффективные способы управления судами и парламентами в интересах правителей. Графики 2 и 4 демонстрируют также, что в узбекистанском кейсе с 1992-го, а в российском и украинском кейсах с начала XXI века автономия судебной власти пребывала в кризисе. Подчинение парламента в Узбекистане произошло в период между 1991 и 1994 годами, а в России — отчасти в 1993 году, затем — гораздо значимее — с 2000 года. В Украине Верховная рада переживала ослабление своей автономии в периоды с 1993 по 2002 год, а также с 2010 по 2014 год и далее. Опять же, только в эстонском кейсе независимость легислатуры и судебной власти оставалась непрерывной и неоспоримой с 1992–1994 годов.

В моей интерпретации эти данные свидетельствуют о том, что политическое творчество постсоветских народов, относящихся к тем типам, которые представлены узбекским и российским кейсами, после первых успехов демократии перенаправили в автократическое русло. В украинском кейсе тоже были периоды, отмеченные превалированием автократиче-

ского творчества. В этих случаях представители властных элит и гражданские активисты все чаще принимали не- и антидемократические приоритеты за основание своих действий. Именно так выросло новое поколение постсоветских подданных, отринувших логику гражданственности и разделяющих идеалы национализма, империализма, разного рода реакционных и революционных, консервативных и неосоветских взглядов. И так же появились новые поколения бюрократов, публичных политиков и юристов, для которых служение неправовому государству стало важнее служения публичному интересу, своим избирателям или праву.

Постсоветский суверенизм

Легитимация данного типа политического творчества связана с консервативным поворотом постсоветских обществ конца 90-х годов. Поворот подпитывала постсоветская национализация, не чуждавшаяся авторитарных экспериментов и «остальгии»*. Это было особенно заметно в моменты президентских выборов, в которых участвовали кандидаты из числа бывших сотрудников КГБ¹⁸³. Кроме того, организации гражданского общества, вопреки идеалистическим ожиданиям начала 90-х годов, становились соучастниками неопатrimonиальных поворотов, присоединялись к патрональным пирамидам, участвовали в коррупции и становились носителями антидемократических, милитаристских и авторитарных идей. Хотя религиозные свободы были важны для постсоветской демократизации, развитие конфессиональных организаций и сообществ породило поддержку клерикализма и специфическую национализацию — и даже этнизацию — христианства

183 В 1993 году 98% азербайджанских избирателей проголосовали за Гейдара Алиева, в 1999 году — 8% избирателей Украины за Евгения Марчука, а в 2000 году — 53% избирателей за Владимира Путина в России. Во всех трех случаях фактор «службы в спецслужбах» кандидаты в электоральных кампаниях использовали в качестве их конкурентного преимущества, а не ошибок прошлого.

и церкви, ислама и уммы. Все вместе это привело к суверенистскому повороту, соединившему в последние десять лет разные тенденции в единую идеологическую систему в целом ряде стран¹⁸⁴. Система оказалась затребованной и в режимах откровенно авторитарных, и в некоторых иллиберальных^{*} демократиях: суверенизм стал доминирующим в постсоветских Азербайджане, России и Узбекистане, а также в посткоммунистических Венгрии и Польше. Суверенизм использовал политическую логику народности и традиции для преодоления индивидуализма граждан и утверждения коллективизма поданных, для которых права и свободы не являлись безусловной и неотъемлемой ценностью.

В последние 10–15 лет даже в самых свободных постсоветских обществах все более заметной становилась тенденция отказываться от идеологического плюрализма и восстанавливать идеологическую монополию¹⁸⁵. Кажется, народы стран, некогда бежавших от идеологической монополии СССР и восточного блока, устали от свободы и разнообразия и вернулись к практике идеологической и культурной однородности.

Об этом свидетельствуют, в частности, данные Индекса идеологизации правления (см. график 14). Данный показатель отвечает на вопрос, в какой степени правительство того или иного государства формирует определенную идеологию и продвигает соответствующую этой идеологии модель общества для оправдания существующего режима. Приведенные на графике 14 данные говорят о том, что после деидеологизации постсоветских народов в узбекистанском кейсе возобновление идеологической монополии произошло уже в 1991–1992 годах, а в российском случае реидеологизация началась вместе с правлением Владимира Путина и к 2012 году достигла значительного уровня. В украинском кейсе попытки установ-

¹⁸⁴ Об этом, например, см.: Minakov M. The Sovereignist Turn. С. 100 и далее.

¹⁸⁵ См. кейсы, описанные в: Minakov M. The Protest Movements' Opportunities and Outcomes.

ления идеологической монополии совпадают с постреволюционными ситуациями 2004–2009 и 2014–2018 годов. Лишь в Эстонии идеологическая монополия отсутствовала весь постсоветский период.

Культурно-идеологическая однородность во многом понималась в терминах исторической традиции и укорененности в этнические культуры. Примерами такого неотрадиционализма могут быть и идеологические постулаты «Рухнамы» Сапармурата Ниязова, и светский национал-консерватизм Ислама Каримова, и политическая теология Нурсултана Назарбаева, и путинская конституционная реформа 2020 года¹⁸⁶. Неотрадиционалистские режимы действовали проверенными способами. Чем менее доступной оказывалась для граждан правовая справедливость в суде, тем больше власти и общества фокусировались на ее суррогате — исторической справедливости. Чем хуже обстояли дела с доходами домохозяйств, тем большую социально-политическую роль приписывали «национальной памяти» и создавали под нее соответствующие управленческие органы. Внутри постсоветских обществ все заметнее зрело противоречие между возникшим «большинством» и «меньшинствами», а также между зарубежными и внутренними Иными. Зарубежные Иные поначалу представлялись лишь как вероятные противники, но с началом войн — как реальные враги. Внутренние же Иные на первых порах выделялись в легитимную оппозицию, затем становились пособниками внешних врагов. Отсюда и рост системных репрессий против отдельных лиц и групп. Их сначала объявляли «иностранными

¹⁸⁶ Об этих феноменах см., например: *Zabotseva Y. N. Niyazov's Ideology and its Symbolism: The Cult of the Leader, Nationalism and its Suppression of Critical Thinking // Politics, Religion & Ideology*. 2018. № 4. Стр. 510–530; *Kiryukhin D., Shcherbak S. The People, Values, and the State: How Vladimir Putin's Views on Ideology Evolved // Studia Politica*. 2022. № 1. Стр. 43–63; *Abdullaev Y. Philosophy in Post-Soviet Uzbekistan / M. Minakov(ed.) // Philosophy Unchained. Developments in Post-Soviet Philosophical Thought*. Stuttgart, 2022. Стр. 232–242; *Grigorishin S. Wuqf Yelbasy: Islamic Mysticism and Kazakh Democracy // Ideology and Politics Journal*. 2023. № 1. Стр. 172–218.

агентами» и «национал-предателями», а затем они получали соответственный правовой статус с ограничениями в работе, арестами и выдавливанием в эмиграцию.

Действия авторитарных и авторитализирующихся властей находились в перманентном противоречии с нормами, сохранившимися в конституциях и национальных законодательствах с начала 1990-х. В 2012–2022 годах 7 из 12 конституций признанных государств Восточной Европы и Северной Евразии прошли через «нормативную чистку» — процедуру внесения поправок, которые либо отменяли либерально-демократические нормы раннего постсоветского периода, либо разбавляли их неотрадиционалистскими и суверенистскими формулировками, вносящими разнобой и противоречия в основные законы. Меньшая часть этих поправок опиралась на референдумы, большая — на решения все менее автономных парламентов. Впрочем, и решения референдумов показывают, что постсоветские авторитарные режимы научились управлять волеизъявлением народов и инструментами прямой демократии¹⁸⁷.

Автократические эффекты войны

Однако самое сильное влияние на авторитарское творчество оказывала война как в форме международного, так и гражданского конфликта. Или ее угроза. Гражданские войны (например, в Грузии и Азербайджане 1991–1993 годов, на Северном Кавказе в 1994–2002 годах) канализировали творческий потенциал постсоветского человека в авторитарском направлении. Гражданская война и азербайджано-армянский конфликт привели к установлению династического авторитарного правления Алиевых в Азербайджане¹⁸⁸. Война в Грузии между раз-

¹⁸⁷ См., например: Schmaing S. “Dictatorship of Applause”? The Rise of Direct Representation in Contemporary Ukraine // *Topos*. 2021. № 1. Стр. 11–31; Blackburn M., Petersson B. Parade, Plebiscite, Pandemic: Legitimation Efforts in Putin’s Fourth Term // Post-Soviet Affairs. 2022. № 4. Стр. 293–311.

¹⁸⁸ Sultanova S. Challenging the Aliyev Regime: Political Opposition in Azerbaijan // *Demokratizatsiya*. 2014. № 1. Стр. 15–27.

ными этническими группами и грузинскими партиями (при значительном вмешательстве России) способствовала тому, что демократическое и экономическое развитие страны было задержано на полтора десятилетия, а законное правительство потеряло контроль над частью территории страны¹⁸⁹. Чеченские войны способствовали не только прерыванию демократизации в России, но и ее автократизации, они же привели к ускоренной демодернизации сообществ Северного Кавказа и обусловили приход к власти и направление развития путинского режима¹⁹⁰. Внутренние вооруженные конфликты стали крайне влиятельными факторами, ограничивающими демократическое и поддерживающим автократическое творчество.

Не меньшее авторитарное влияние имела и война между постсоветскими народами, например, Грузии и России (в 2008 году) или России и Украины (с 2014 года и до наших дней). Война с Россией усилила авторитарные тенденции в Грузии при правлении Михаила Саакашвили (правил с 2003 по 2013 г.)¹⁹¹. При этом победа России в войне против Грузии при минимальном сдерживании со стороны Запада убедила Кремль в том, что военные операции на постсоветском пространстве вполне легитимная практика. Это повлияло на решение захватить и аннексировать Крым, а также поддержать пророссийский сепаратизм и ирредентизм в Украине в 2014 году или начать полномасштабное вторжение в 2022 году¹⁹². Выше я уже описывал, как постсоветский регион вошел в стадию милитаризации

¹⁸⁹ Wheatley J. Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet Union. London, 2017.

¹⁹⁰ См.: Tishkov V. Chechnya: Life in a War-Torn Society. Los Angeles, 2004; Treisman D. Presidential Popularity in a Hybrid Regime: Russia under Yeltsin and Putin // American Journal of Political Science. 2011. № 3. Стр. 590–609.

¹⁹¹ Way L. The Authoritarian Threat: Weaknesses of Autocracy Promotion // Journal of Democracy. 2016. № 1. Стр. 64–75.

¹⁹² Об этом, например, см.: Dijkstra H., Caveley M. D., Jenne N., Reykers Y. War in Ukraine // Contemporary Security Policy. 2022. № 3. Стр. 464–465; Muradov I. The Russian Hybrid Warfare: The Cases of Ukraine and Georgia // Defence Studies. 2022. № 2. Стр. 168–191.

после российско-грузинской войны в 2008 году, но в этой части важно указать, что эта война запустила процессы создания и укрепления целого «авторитарного пояса» в Восточной Европе от Анкары и Баку до Москвы и Минска¹⁹³. Наличие враждующих — а затем и воюющих — этнических или идеологических групп, народов и geopolитических блоков создавало предпосылки для закрепления в постсоветских обществах образа врага (в отношении соседних народов) и социальной паранойи (в отношении меньшинств и оппозиции), усиливая, соответственно, предпосылки для направления политического творчества наших народов в автократическом направлении. Спрос на защиту со стороны государства и вождей рос начиная с первого десятилетия XXI века.

В итоге постсоветский период лишь отчасти можно связывать с демократическим творчеством. Не менее значимым в тот период оказалось именно автократическое творчество, имевшее свою субстанциальность, логику и легитимность. Об этом свидетельствуют данные Индекса «Мобилизация в поддержку автократии» (см. график 15). Этот показатель оценивает, насколько частыми и масштабными были в определенное время события массовой мобилизации в поддержку вполне автократических целей или лидеров. Согласно исследовательской методологии V-Dem, политические движения считаются проавтократическими, если они явно и артикулированно заявляют о своей поддержке недемократических форм правления или лидеров, ставящих под сомнение основные принципы демократии. Или же если они и вовсе направлены на подрыв демократических идей и институтов, таких как верховенство права, свободные выборы или свобода СМИ.

График 15 позволяет увидеть в сравнительной перспективе, как, когда и с какой регулярностью в постсоветских странах прокатывались волны массовых движений в поддержку авто-

¹⁹³ Об авторитарном поясе и его политической экологии см.: Minakov M. Post-Soviet Eastern Europe. Achievements in Post-Soviet Development in Six Eastern European Nations, 1991–2020 // Ideology and Politics Journal. 2019. № 3. Стр. 171–193.

кратии. Так, узбекистанский кейс свидетельствует о долгой и высокой, по всей видимости, управляемой мобилизации населения правительством в поддержку лидера-автократа и его авторитарного режима. Поддержка уменьшается в 2016 году со сменой лидера и режима, что позволило некоторым гражданским свободам вернуться в Узбекистан и уменьшить авторитарное качество правления при сохранении авторитарных черт режима.

Эстонский кейс указывает на то, что и в подобных политических системах возможна поддержка авторитарии. В Эстонии отмечались три спорадических всплеска проавторитарной мобилизации: первый был связан с социально-экономическим кризисом 2008 года, второй — с реакцией в 2014–2016 гг. на аннексию Крыма Россией и на начало Донбасской войны, а третий — в связи с нападением России на Украину в 2022 году. Даже в стабильной европеизированной постсоветской демократии война между другими постсоветскими народами провоцирует мобилизацию авторитарического характера.

Российский кейс показывает, что войны постепенно становились важным фактором мобилизации в пользу авторитарии. Во время первой чеченской войны (1994–1996) мобилизационный всплеск был невысоким, зато с началом второй чеченской войны (1999–2009) и правлением Путина мобилизация достигла значительного уровня. Затем значительный постоянный рост проавторитарной мобилизации заметен в России с волны цветных революций (2003–2005) и реакции на них в Кремле вплоть до пиковых значений в момент аннексии Крыма.

Наконец, украинский кейс свидетельствует, что в государствах с гибридными режимами, колеблющимися между большей и меньшей свободой, мобилизация в пользу авторитарии связана с противостоянием с демократическим лагерем. Так было в Украине во время «оранжевой революции» (2004), в связи с реакцией части общества на Евромайдан и аннексию Крыма (2014) и, наконец, в 2017–2018 годах, когда режим

президента Петра Порошенко вошел в национал-консервативную стадию (под влиянием Донбасской войны и ее социально-идеологических последствий). Как правило, в данном типе государств проавтократические волны сменялись продемократическими, а плоды автократического творчества подрывались достижениями демократического творчества, и наоборот. В подобных сменах любые официальные институты становились особенно хрупкими, открытыми для влияния неформальных групп и изнутри, и извне.

Итак, о постсоветском автократическом творчестве мы можем говорить с той же достоверностью, что и о демократическом. Несколько поколений, живших, трудившихся и оставивших свой след в странах Восточной Европы и Северной Евразии в историческом длении между цезурами 1989–1991 и 2022 годов, вложили свою жизненную энергию и творческие силы в плоды автократического творчества. В их числе: 1) устойчивые неформальные группы (кланы, неопатrimonиальные сети, патрональные пирамиды и структуры мафиозного государства), подчиняющие формальные институты государства своим интересам; 2) постсоветский президентализм, умеющий трансформировать в структуры подданнического подчинения гражданские свободы, которые были достигнуты в начале 1990-х; 3) парламенты и суды, способные соединять формальную автономию с полным или частичным подчинением своих решений президентам или олигархическим кланам; 4) идеологии, придающие смысл ограничению гражданских свобод и вовлекающие граждан в военные конфликты, и 5) трансформация постсоветского региона из части проекта «Европа — наш общий дом» в регион войн, повышающих спрос на военно-политических вождей и социально-политическую дисциплину в условиях военного времени.

Графики

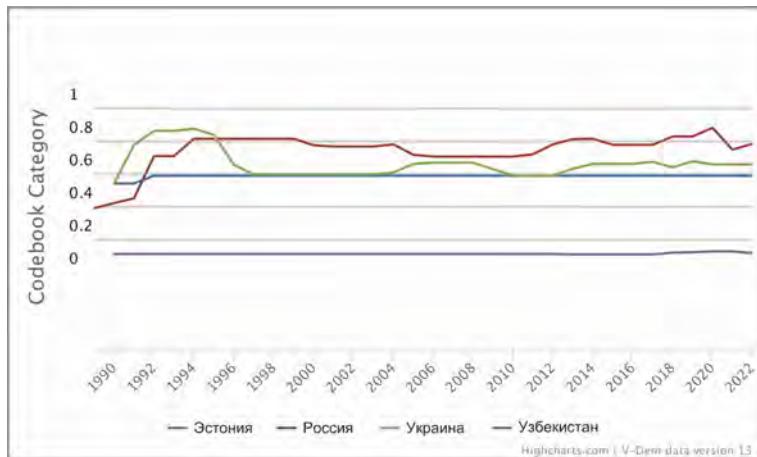


График 1. Индекс разделения власти (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

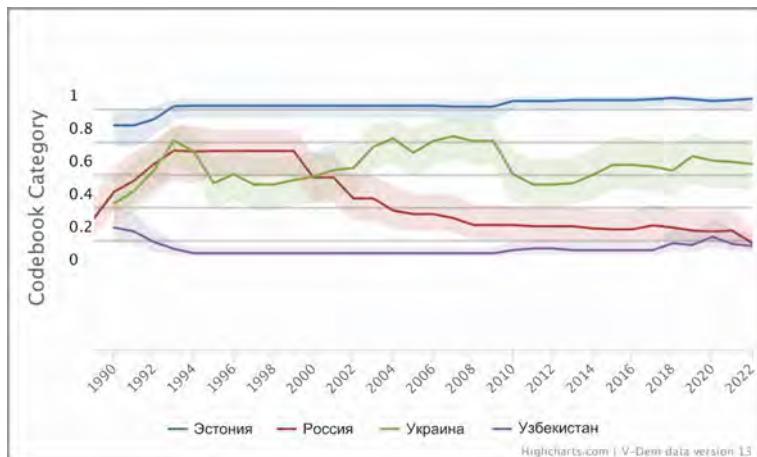


График 2. Индекс «Законодательные ограничения исполнительной власти» (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

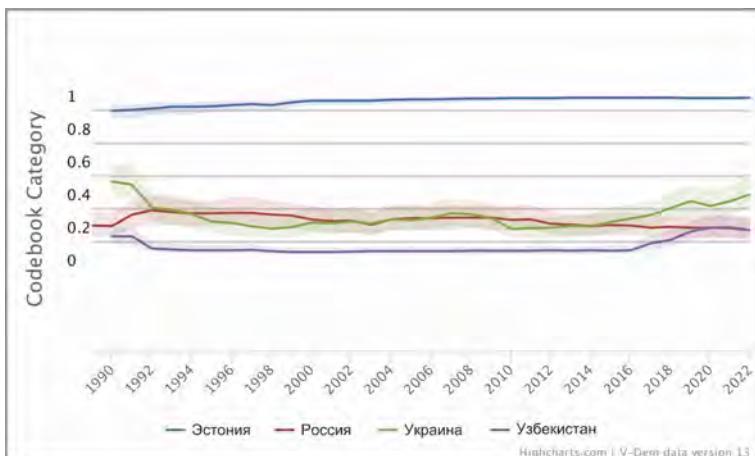


График 3. Индекс верховенства права (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

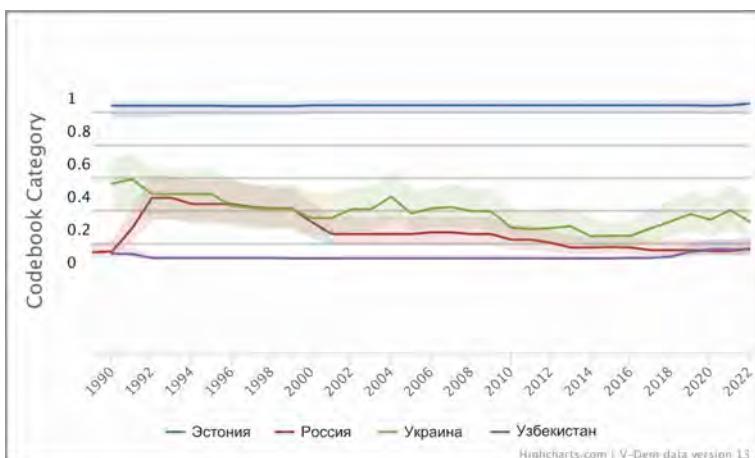


График 4. Индекс «Судебные ограничения для исполнительной власти» (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

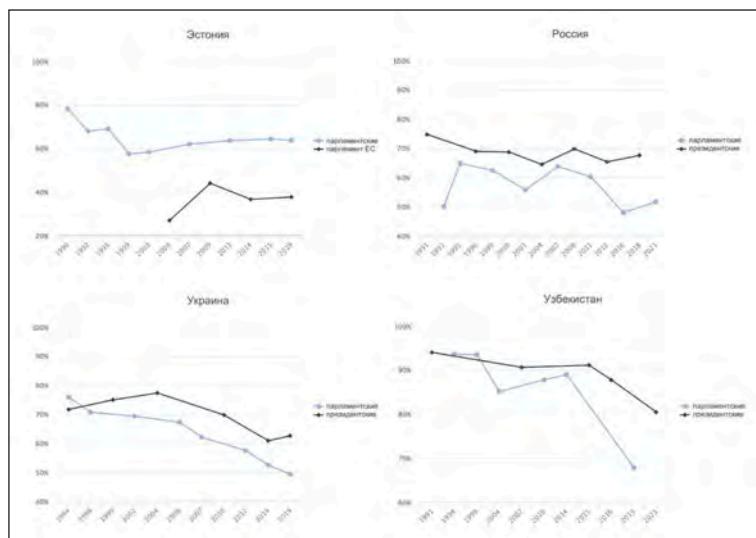


График 5. Явка избирателей (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2021 гг.)¹⁹⁴

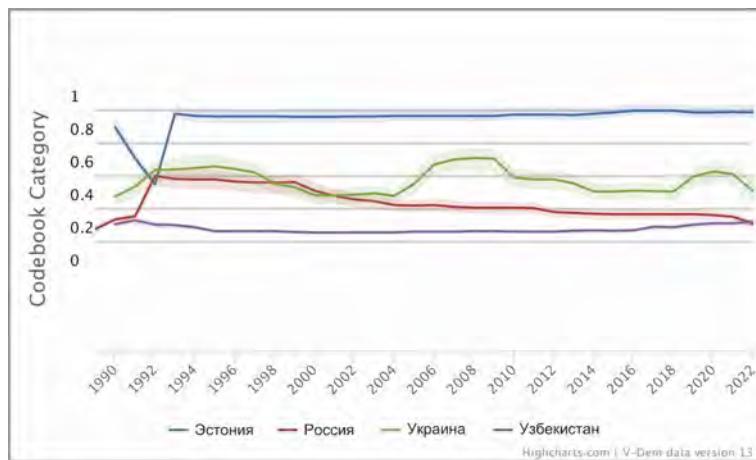


График 6. Индекс электо́ральной демократии (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

194 Данные для этих графиков взяты из базы данных IDEA: Voter Turnout Database // International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2023. URL: <https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout>.

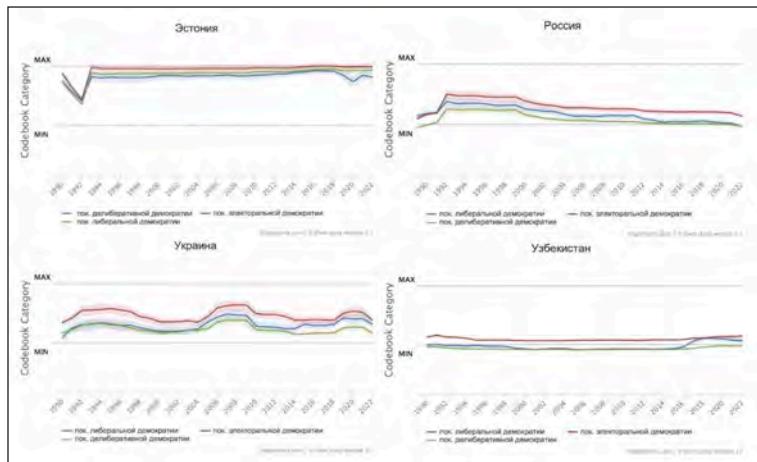


График 7. Индекс сравнительных показателей электоральной, либеральной и делиберативной демократии по странам (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

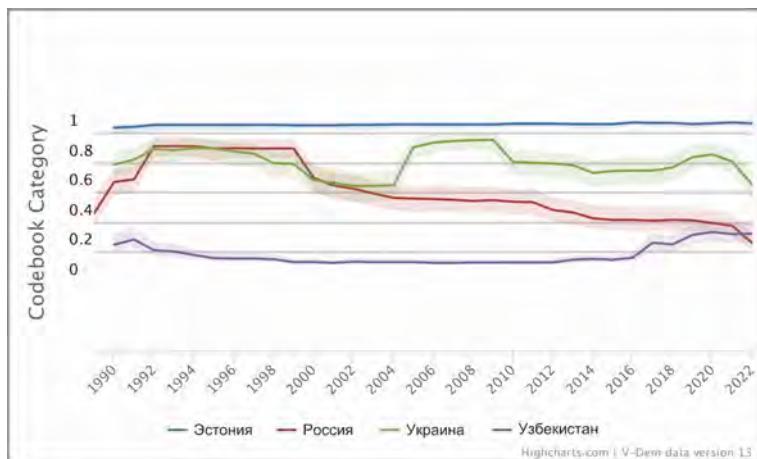


График 8. Индекс свободы выражения мнений и альтернативных источников информации (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

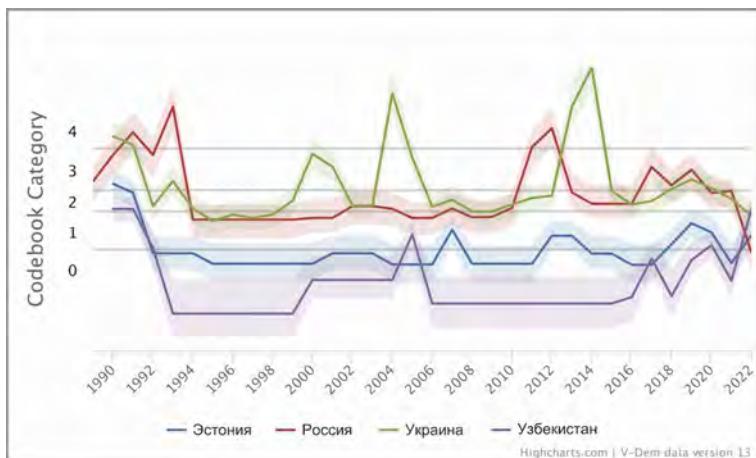


График 9. Мобилизация в поддержку демократии (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

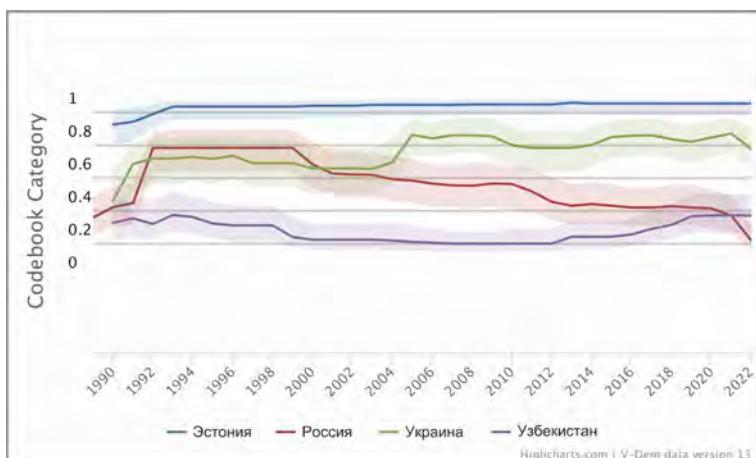


График 10. Базовый индекс гражданского общества (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

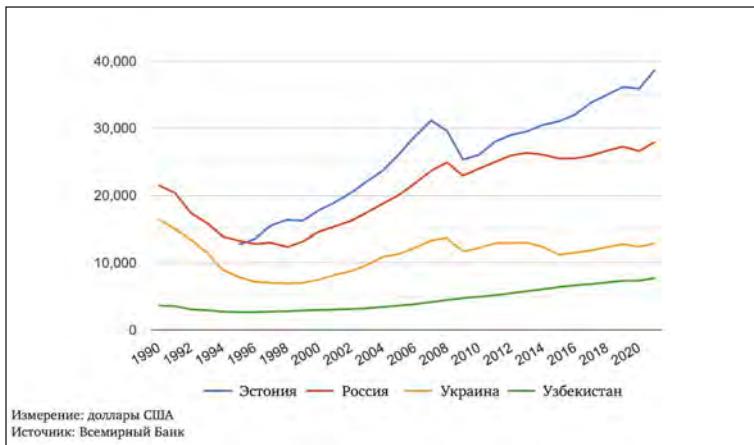


График 11. ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности (доллары США) (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2020 гг.)

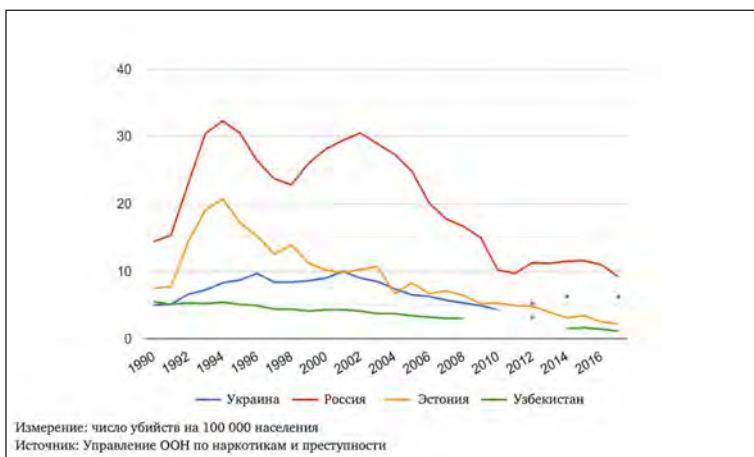


График 12. Число убийств на 100 тыс. населения (Украина, Россия, Эстония и Узбекистан, 1990–2016 гг.)

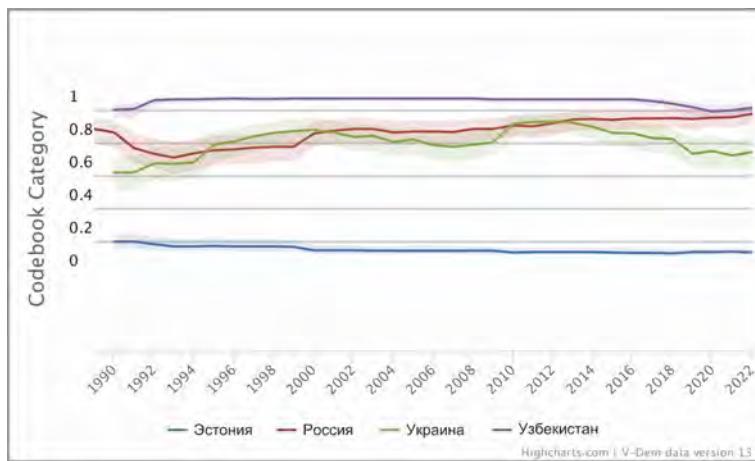


График 13. Индекс неопатrimonиального правления (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

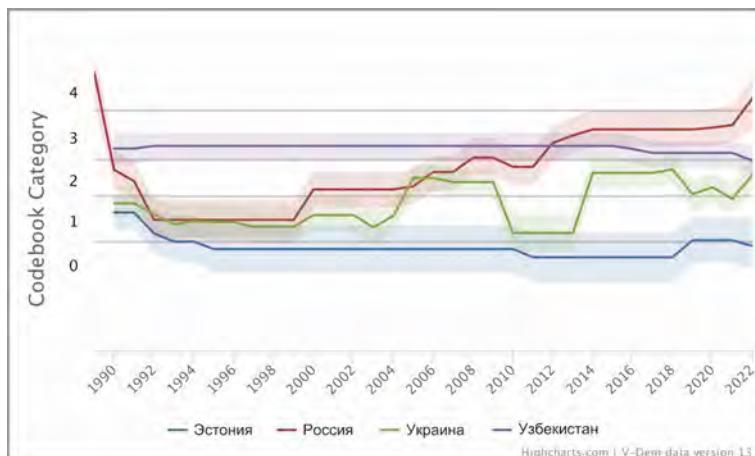


График 14. Индекс идеологизации правления (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

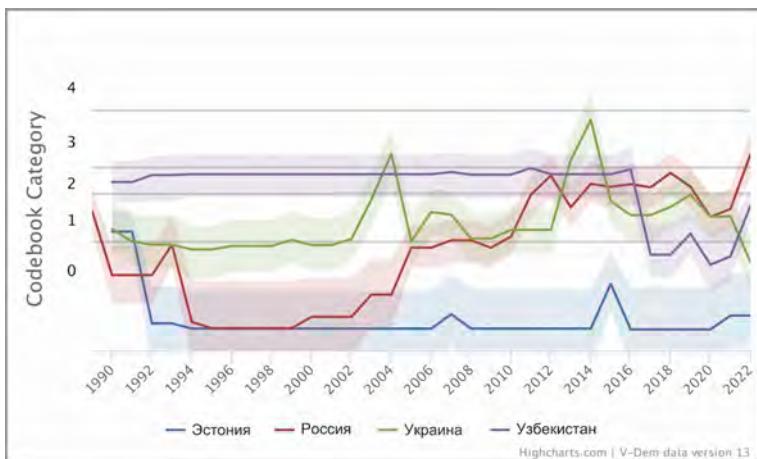


График 15. Индекс «Мобилизация в поддержку автократии»
(Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)

Заключение

Постсоветская эпоха и будущее Восточной Европы и Северной Евразии

Думаю, в этой книге мне удалось показать, что постсоветская эпоха была по-своему беспрецедентной в истории человечества. Ее уникальность состоит в том, что *революция 1991 года* не только открыла возможности испытать на опыте свободу и свои творческие силы отдельным людям и разнообразным множествам стран Восточной Европы и Северной Евразии, но и не стала взимать био- и некро-политическую цену, сравнимую со «стоимостью» Гражданской войны 1917–1924 годов. Да, нельзя забывать, что распад СССР и цезура 1989–1991 годов принесли в жертву десятки тысяч убитых, а несколько миллионов стали вынужденными мигрантами. Но нельзя забывать и о том, что выжившие получили возможности, которых были лишены их предки в начале 1920-х: для постсоветских множеств реальными стали и личная свобода, и коллективная эмансипация, и малоинвазивное государство (по крайней мере, в 1990-е), и реальная возможность нести ответственность за свою жизнь.

Постсоветский человек прожил эту эпоху, не оправдав надежд — своих собственных, своих родителей и своих современников из других частей мира. Сложно не согласиться с Владимиром Сорокиным: постсоветский человек разочаровал больше, чем советский. *Homo soveticus* ужасал попытками выполнения своего утопического проекта. Постсоветские же люди разочаровали тем, что не исполнили своей исторической миссии титанического самопреодоления. И хотя лихие — а также вольные и дерзкие — 1990-е годы открывали все возможности для прометеевских поступков, постсоветские люди слишком часто поддавались простым радостям приспособленчества, ужасу перед возможностями свободы, инстинктам

конфликтного индивидуализма, соблазнам потребительского капитализма и искусствам постмодерного декаданса. Политическое творчество в таких условиях проходило все больше рывками, непоследовательно и безыскусно, а результатами стали хрупкая свобода и эффективное подчинение. В деструктивной креативности постсоветского человека, кажется, превалировала именно авторитарная тенденция.

Оглядываясь из цезуры 2022 года, становится пронзительно ясно: постсоветские общества так и не смогли пройти путь эманципации, вырвавшись из исторической колеи имперской и колониальности. Россияне предали Федерацию и как идею, и как модель, и как практику. Другие постсоветские народы не смогли вырваться за пределы колониального воображения, не предъявили миру свой коллективно-жизненный набросок, предпочтя ему выбор между статусами периферии враждующих геополитических проектов.

Магистральные процессы постсоветской тетрады по большей части угасли, поскольку нараставшее между ними напряжение так и не стало источником творческой энергии для достижения транзита, его целей. Демократизация тормозила эффективность государственных институтов, а новые государства со временем стали воспринимать политические свободы граждан как вызов собственной безопасности. Авторитарные тенденции рождались и из неудач демократических экспериментов, и из традиционных искусств подчинения. Национализация новых государств лишь на первых порах была в союзе с демократическим развитием. Жажда унификации множеств, доставшихся постсоветским левиафанам в наследство от Советского Союза, усиливала неравенство, которое порождали новые экономики. Постсоветский узел туго завязывала свобода, которая все радикальнее разрывалась между правом и коррупцией. В клубке этих противоречий европеизация, которая какое-то время поддерживала усиление гражданских прав и свобод внутри политических систем, правовую и экономическую интеграцию, а также мир между народами региона,

вскоре стала одним из факторов региональной фрагментации. Единая Большая Европа и страны, ее составляющие, прошли трагичный транзит, начинавшийся, как казалось, по оси «Дублин — Владивосток», но где-то свернувший на колею, соединяющую Ольстер и Магадан и превращающую содружество восточноевропейских народов в совражество.

История и вправду пытается учить. Но беда в том, что у нее мало учеников. В книге я отметил лишь некоторые из уроков постсоветской истории. Исследовать эту эпоху еще предстоит, причем не только из академического интереса, но и из совершенно прагматических резонов. Ради будущего, которое неминуемо наступит после российско-украинской войны и нынешней цenzуры, необходимо понять, как посадить левиафанов региона на цепь верховенства права, обеспечить стабильность политico-правовых систем с разделенной властью, минимизировать злокачественность возникших социально-экономических систем и выстроить инфраструктуру мира между народами Восточной Европы и Северной Евразии. Мы должны быть готовы проработать свое постсоветское прошлое и быть способными провести множество деконструкций — депутатизацию (как и делукашевизацию и тому подобное), денуклеаризацию*, суды над военными преступниками и отказ от империализма и национализма. Новые — *постпостсоветские* — республики в новых geopolитических условиях, малосвязанные с советским опытом, смогут справиться с имперско-колониальными и клановыми структурами своих систем и Жизненных миров лишь в том случае, если будут учитывать уроки постсоветской истории.

Без усвоения уроков нашей недавней истории мы обречены на вечное хождение по кругу — от революционных травм к большевицким экспериментам, к сталинским термидорам, к хрупким оттепелям, к засасывающим застоям и к новым безуспешным революциям. Это кружение подрывает и уничтожает творческие достижения. Эта abortивная реверсивность характерна для истории модерности в Восточной

Европе и Северной Евразии, но ей присуща также критическая рациональность, добрая воля и гражданственная самоотверженность. И от выбора каждой человеческой экзистенции, как и кем быть, зависит то, каким будет мир нашего присутствия и становления после нынешней цезуры.

Глоссарий

Автократизация — процесс установления автократии. Автократия — это система правления, при которой вся власть (или большая ее часть) принадлежит правительству-авторитару и не сбалансирована другими политическими или социальными противовесами. К автократиям относятся монархии и диктатуры, однако современные формы автократии включают также формы, скрывающие или смягчающие элемент насилия такого правления («умная автократия», «избираемая автократия» и т.п.). С конца первой декады XXI века автократизация обозначает и распространение этой формы правления в мире. В политической науке, практикуемой в большинстве западных исследовательских центров, автократизацию понимают как упадок демократий или снижение демократического качества формально демократических режимов.

Актор — действующий субъект (индивидуальный или коллективный; индивид, социальная группа, организация, институт и т.п.), обладающий своим осознанным интересом, совершающий действия, направленные на других и ведущие к общезначимым изменениям. Например, государство является главным политическим актором в поле международной политики, а политическая партия — во внутриполитической конкуренции и избирательных процессах. Акторы обладают субъектностью или «агентностью» (agency), то есть способностью действовать в определенной среде, структурной частью которой и является актор.

Арендт, Ханна (1906–1975) — немецко-американский философ и политический теоретик, основоположница немарксистской теории революции и теории тоталитаризма.

Брубейкер, Роджерс (р. 1956) — американский социолог, исследовавший среди прочего постсоветские процессы нациестроительства и межэтнические отношения.

Бытие (греч. *tό Óv*; лат. *esse*; нем. *Sein*; фр. *être*) — одно из центральных философских понятий, обозначающих источник всего сущего и относящегося к субстанции. Отсюда «бытийствующее» — это то, что пребывает в бытии, а «бытийствование» — пребывание в бытии. Бытие является центральной темой метафизики, а изучение бытия называется онтологией. В контексте бытийствования человек — это человеческая экзистенция (или существование), способная присутствовать, пребывать в становлении и выражать свой опыт присутствия и становления в бытии.

Герменевтика (в философском контексте) — философская дисциплина, которая занимается вопросами значимости интерпретации, ее экзистенциальных и когнитивных оснований, а также ее роли в человеческом существовании. Герменевтика рассматривает интерпретацию (а также понимание и истолкование) в контексте фундаментальных философских вопросов о бытии, познании, языке, истории, искусстве и повседневности. Герменевтика также является направлением современной философии, возникшей и развивавшейся под влиянием исследований Библии, теории истории и феноменологии.

Делиберативный — относящийся к обсуждению, публичной дискуссии, т.е. делиберации. В данной книге этот термин используется в связи с делиберативной демократией, демократической доктриной, согласно которой политическое решение может считаться легитимным, только если ему предшествовало подлинное обсуждение, а не просто агрегирование предпочтений во время голосования. Делиберация — публичный процесс коммуникации, в ходе которого рассматриваются различные мнения и аргументы в их пользу, что ведет к решению, основанному

на консенсусе и взаимопонимании (в идеале всех участников обсуждения). Истинная делиberация должна быть свободной от политического влияния, открытой, явной, рационально аргументированной и проводимой для общего блага.

Денуклеаризация — процесс сокращения или уничтожения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства. То есть фактически денуклеаризация означает отказ страны от ядерного вооружения.

Доходы домашних хозяйств — общая сумма денежных и натуральных доходов по всем источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг за счет социальных фондов.

Елбасы (казах. — глава государства) — официальный титул, который носил первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев с 2010 по 2023 год.

Жизненный мир (нем. *Lebenswelt*) — концепция современной философии, обозначающая мир самоочевидности и данности, благодаря которому люди могут понимать друг друга и мир, а также взаимодействовать. Это понятие ввел Эдмунд Гуссерль (1859–1938) для обозначения общего интерсубъективного основания и горизонта всякого субъективного познания. Позже концепция Жизнского мира использовалась в философии и социальной теории (например, у Юргена Хабермаса) для обозначения той среды компетенций, практик и установок, которые существуют до индивидуального опыта человека и составляют горизонт возможностей его опыта. Хабермас рассматривает Жизненный мир как состоящий из социально и культурно сформированных и устоявшихся языковых значений, помогающих людям достигать согласия, культурно и социально обоснованного взаимопонимания и взаимных уступок. Жизненный мир придает смысл жизни отдельным людям и целым сообществам. Жизненному

миру противостоит *система*, оторвавшаяся от человечества рациональная сила, колонизирующая жизненные миры и лишающая людей и сообщества смысла их жизни.

Иллиберализм — деформация политической культуры и/или системы, ведущая к упадку демократических институтов и снижению доверия к либеральным демократическим институтам. Иллиберальные демократии — это демократии, отказавшиеся от либерально-правовых ограничений для своеволия большинства и уважения к правам индивида и меньшинств. В Европе иллиберальным поворотом называют изменение политико-правовых систем и политических культур в ряде центральноевропейских стран (например, в Венгрии и Польше) в середине второй декады XXI века. Этот поворот символизировал среди прочего сворачивание посткоммунистической демократизации в Европе.

Инклюзивность — принцип организации жизни в обществе, обеспечивающий равный доступ к возможностям и ресурсам для людей, которые в противном случае могли бы быть исключены или маргинализированы: например, для людей с физическими или интеллектуальными недостатками или принадлежащих к меньшинствам.

Интернализация — принятие индивидом в процессе социализации норм, правил, ролей и ценностей, установленных другими людьми. Процесс интернализации начинается с изучения норм, затем понимания их ценности и, наконец, ведет к принятию нормы как своей собственной точки зрения.

Интеробъективность — это общее пространство опыта и смысла, которое структурируется равноправными взаимоотношениями и взаимовлияниями людей, материальных и нематериальных объектов. Понятие введено в философию и социальные науки Бруно Латуром (1947–2022) и рядом других теоретиков, сформулировавших акторно-сетевую теорию.

Интерсубъективность — соотношение и совпадение экзистенциальных и когнитивных перспектив людей. Термин введен философом Эдмундом Гуссерлем (1859–1938) для обозначения связи и совпадения осознанных и неосознанных перспектив в переживании реальности двумя субъектами (или большим числом), ведущих к возникновению общего — интерсубъективного — горизонта значений. Термин «интерсубъективность» в социальных науках, как правило, относится к фундаментальным структурам, общим для двух и более расходящихся субъективных перспектив.

Ирредентизм (от итал. *irredento* — неосвобожденный) — это либо стратегия национального государства, направленная на объединение под своим управлением одного народа или этнической группы, либо идеология этнонационального движения, требующая выхода (септизии) своего сообщества (или региона проживания) из одного государства и присоединения к другому, в котором данное этнонациональное сообщество составляет большинство.

Кейс (англ. *case* — случай) — термин, связанный с методом конкретных ситуаций (*case study*), исследовательской техники, направленной на детальное и глубокое изучение отдельного случая (кейса), связанного с каким-либо событием, тенденцией, группой, организацией или страной. Кейс строится на реальных фактах, которые не просто описывают, но анализируют репрезентируемую проблему, противоречие или тип организации. Выводы такого анализа могут быть экстраполированы для понимания других подобных феноменов, событий или тенденций.

Клиентелизм — это логика политического действия, основанного на персональных неформальных отношениях, круговой поруке и обмене услугами за политическую поддержку. Клиентелизм предполагает асимметричные отношения между группами политических акторов, часть из которых являются патронами-покровителями,

а другая — клиентами. Клиентелизм — обратная сторона патримониализма и часть патрональной политики.

Койнония (греч. κοινωνία — общение, соучастие) — изначально обозначало совместное участие в чем-либо, общий дар, долю в пожертвовании. В философии койнония обозначает благорасположенность и участие в общем гражданском процессе, фундирующем политическое сообщество. Иначе говоря, койнония — это политическая коммуникация, одновременно отсылающая к процессу политического взаимодействия (от соучастия до гражданской войны) и к результату (в виде существующего политического сообщества — граждан полиса, народа, нации и т.п.).

Маркетизация (англ. market — рынок) в контексте этой книги — построение рыночной экономики, создание свободного рынка. Свободный рынок — это система экономических взаимоотношений, где добровольный обмен, баланс спроса и предложения, а также свободная конкуренция без вмешательства государства являются основными принципами.

Мир-система — социально-экономическая система, охватывающая весь мир или его часть и представляющая собой результат взаимодействия между государствами, экономическими и обществами. Мир-системы, как правило, крупнее отдельных государств и предполагают общность с единой системой экономического и культурного обмена, разделения труда и политических отношений. Основатели мир-системного подхода (прежде всего А. Г. Франк, С. Амин, И. Валлерстайн и Дж. Арриги) изучают эволюцию мир-систем, а не отдельных социумов, экономик или государств. Современная глобальная капиталистическая мир-система состоит из «ядра» (наиболее высокоразвитые государства и экономики Запада), полу-периферии (государства, пытающиеся достичь статуса ядра, например, Китай, Россия или Турция) и периферии

(государства и экономики, проигрывающие мировой системе распределения власти и прибыли).

Неопатриотализм (лат. patrimonium — вотчина) — система социально-политического порядка, при котором правящие группы (патроны-покровители) используют государственные ресурсы для обеспечения лояльности подчиненных групп (клиенты). Этот порядок базируется на неформальных отношениях патрона и клиента, которые могут охватывать людей и группы от самых высокопоставленных чиновников до жителей небольших городов и сел. Неформальная логика отношений, предлагаемая неопатриотализмом, подрывает политico-правовые институты и верховенство закона и усиливает коррупцию в публичном секторе.

Остальгия (нем. Ost — восток) — специфическая ностальгия, то есть тоска по вещам, людям или ситуациям прошлого, связанная с советским временем. Остальгия проявляется в постсоветских и посткоммунистических обществах как тоска по всем или отдельным аспектам жизни во времена правления коммунистов в СССР или странах восточного блока.

Партикуляризм — это когнитивная или моральная перспектива, предусматривающая невозможность применения общих норм, ценностей или правил к разным сообществам и культурам и требующая специфического подхода и набора критерииев для понимания и оценивания каждого отдельного культурного контекста или события.

Партиципативный (англ. — относящийся к участию) означает вовлечение в управление, непосредственное участие в принятии решений. В данной книге этот термин связан с понятием партиципативной демократии, то есть с такой формой правления, при которой граждане непосредственно участвуют в принятии политических решений, а не через избранных представителей.

Патронализм — термин, введенный Генри Хейлом и обозначающий такое «социальное равновесие, в котором люди организуют свою политическую и экономическую деятельность не на основе свободной конкуренции, а на системе личных связей, прежде всего путем персонализированного обмена конкретными поощрениями и наказаниями, без каких-либо принципов или идеологических убеждений. В таких обществах, как правило, превалируют личная дружба и семейные узы, которым сопутствуют слабый правопорядок, повсеместная коррупция, низкий социальный капитал, патрон-клиентские отношения и повсеместное кумовство» (*Hale H. 25 Years After the USSR: What's Gone Wrong? // Journal of Democracy. 2016. № 27. Стр. 24–32. С. 28*).

Перформатив — речевые акты, являющиеся поступком. Например, клятвы, обещания или приказания. Отсюда перформативное противоречие — это противоречие, возникающее, когда содержание высказывания противоречит предпосылкам его возможности. Примером такого противоречия может быть высказывание «Я был на корабле, потерпевшем кораблекрушение. Никто не спасся». Само по себе содержание этого высказывания не противоречиво, однако произнесенное от первого лица оно становится перформативно-противоречивым.

Позитивное право (лат. *ius positum*) — система норм, formalizованных государством, выражают волю суверена (например, народ или правительство) и посредством которого регулируется жизнь субъектов права на территории данного государства. Юридический позитивизм предполагает, что законы — это предписания одних людей для других, что не существует необходимой связи между правом и моралью, а правовая система — это замкнутая система, в которой правильные решения выводятся из заранее установленных правовых норм без учета социальных или моральных соображений. Эта доктрина

отличается от концепции естественного права, которое включает в себя неотъемлемые права, предписанные не законодательным актом, а «Богом, природой или разумом». Зачастую юридический позитивизм нарушает права человека или моральные ограничения суверена или же безразличен к ним.

Полиархия (букв. власть многих) — форма правления, при которой власть принадлежит нескольким группам. Эта форма правления отличается, во-первых, от диктатуры, поскольку предполагает доступ к центрам власти нескольких групп, а не одной, и, во-вторых, от демократии, поскольку она предполагает ограниченное влияние граждан на правящие группы.

Полилог (греч. — разговор многих) — разговор многих участников, в котором роль говорящего переходит от одного лица к другому без превращения коммуникации в монолог или диалог. В философии этот термин обозначает стремление к открытой и инклюзивной коммуникации многих равных участников, преодолевающих взаимные стереотипы и даже ограниченность диалога двумя перспективами.

Постчеловечество — совокупность существ, чье существование определяется выходом за рамки привычного человеческого существования. Это определение относится к возможному (а для части философов — к возникающему на наших глазах) этапу развития человечества, когда технологии дополнят, расширят и качественно изменят биологическое, психическое, моральное и интеллектуальное измерения существования человека.

Потестарность (лат. potestas — власть) —ластная форма господства и подчинения, свойственная обществам с преобладанием силовых, неправовых, публично-властных институтов. По мнению российского правоведа В. Четвернина, мир делится на цивилизации потестарного

и правового типа, в России правовые институты не закрепились из-за потестарной традиции.

Прометеизм (греч. Προμηθεύς — Прометей, титан, защитивший людей от произвола богов и подаривший им огонь) в контексте данной книги — это реализация просвещенческой максимы, интерпретирующей мотивацию мифологического героя Прометея как стремление кнесению света (огня) людям, даже ценой самопожертвования.

Референтный — соотносимый, связываемый или соотносящий, связывающий с чем-либо; служащий для соотнесения с чем-либо, привязки к чему-либо. В данной книге это прилагательное связано с понятием референции. Под влиянием аналитической философии языка референция (или значение *reference*, *Bedeutung*) является той стороной содержания в имени или высказывании, которое указывает непосредственно на объект или состояние дел в реальности. Референция отличается от смысла (*sense*, *Sinn*). Референцией высказывания является его истинностное значение, а его смысл — выражаемой мыслью.

Ризома — понятие в современной философии, заимствованное из ботаники (корневище, стелющийся или подземный стебель) и описывающее нелинейную и неупорядоченную сеть, соединяющую один ее элемент с любым другим. Введено в философию Жилем Делезом и Феликсом Гваттари (книга «Тысяча плато») для обозначения сетей, пронизывающих семиотические цепи, организации власти и процессы в искусстве, науке и обществе без видимого порядка или согласованности. Принцип ризомы противопоставляется принципу древа, т.е. упорядоченной иерархии.

Сецессия (лат. *secessio* — уход) — выход из состава государства какой-либо его части или группы. Сецессия, как правило, это радикальный случай выполнения политической программы группы, утверждающей свое право на отделение

от национального целого, собственный суверенитет и создание независимого государства.

Социальное воображение — это сложный процесс создания, интерпретации, применения и пересмотра идей, образов и понятий, с помощью которых отдельные люди, малые группы и большие общества представляют свое социальное целое, его части, пространство и время. Социальное воображение объединяет опыт реальности, фантазий и многих других элементов социального мира в относительно понятных смыслах и образах (*imagery*), определяющих диспозиции социальных акторов.

Темпоральность — порядок времени, предполагающий определенную последовательность прошлого, настоящего и будущего (например, линейного, цикличного, разорванного и т.д.). Отсюда «темпоральный» — относящийся к развитию в определенном временном порядке.

Трайбализм (в контексте данной книги) — это дискриминационное и враждебное поведение одной группы по отношению к представителям других групп, основанное на признании обособленности и исключительности своей группы.

Трансгрессия — понятие, обозначающее акт нарушения норм, правил и законов, рассматривается как деструктивный акт поведения. В современной философии это понятие приобретает радикальные черты и означает «преодоление непреодолимого предела» (М. Бланшо), таким образом указывая на революционный потенциал самого акта, на его способность изменить не только социальный, но и онтологический порядок.

Универсализм — когнитивная или моральная перспектива, подразумевающая возможность применения общих норм, ценностей или правил ко всем людям, сообществам и культурам независимо от контекста, в котором они находятся.

Фундировать — обосновать, обеспечить надежным основанием нечто, что реально существует и может быть осмыслено и зафиксировано в языке.

Хабермас, Юрген (р. 1929) — немецкий социальный философ, один из самых влиятельных политических и социальных мыслителей второй половины XX века.

Цезура (лат. caesura — разрыв, пауза) — завершение или прерывание физического, культурного, исторического или иного длительного процесса.

Эволюционная биология — раздел биологии, изучающий происхождение видов от общих предков, наследственность и изменчивость их признаков, размножение и разнообразие форм в ходе эволюционного развития.

Эгалитаризм (фр. égal — равный) — направление в политической философии, отстаивающее идею социального равенства, на основании которого должны строиться политические, правовые, социальные и экономические отношения и институты. В применении к формам правления этот принцип формирует идею эгалитарной демократии, основанной на равенстве прав и интересов всех социальных групп, а также равном доступе всех граждан к экономическим ресурсам и политической власти.

Этнонационализм, этнический национализм — форма национализма, основанного на убеждении в том, что общее этническое происхождение является базисом национальной сплоченности и что государство должно защищать и развивать культуру, язык и религию одной — титульной — этнической группы. Интересы и права граждан другого этнического происхождения и этнических меньшинств при этом классифицируются как менее важные. Этнонационализм противопоставляется доктринаам гражданского национализма, мультикультурализма, инклюзивного общества и т.д.

Homo sapiens sapiens — это подвид *Homo sapiens*, состоящий из современных людей, ныне живущих представи-

телей рода *Homo*. В палеоантропологии это обозначение используется для отделения современного человека от других, более архаичных подвидов вида *Homo sapiens* (иначе говоря, от других некогда существовавших на Земле человечеств). Предполагается, что подвид *Homo sapiens sapiens* возник и расселился по планете в последние две тысячи лет.

Содержание

Опыт философского осмысления постсоветской эпохи.....	1
Отзывы.....	3
Благодарности.....	6
Введение	7
Часть первая	
Философские аспекты постсоветской истории	11
Часть вторая	
Логика развития и этапы постсоветской межвоенной эпохи..	38
Часть третья	
Эволюция представлений о постсоветской эпохе.....	81
Часть четвертая	
Плоды постсоветской политической креативности.....	113
Графики.....	161
Заключение	
Постсоветская эпоха и будущее Восточной Европы и Северной Евразии.....	169
Глоссарий	173